

## Биографический очерк Бориса Федоровича Инфантьева

Публикатор Сергей Мазур

*18 марта 2009 года ушел из жизни краевед, историк, доктор педагогических наук Борис Федорович Инфантьев (род. 14 сентября 1921). Автор книги «Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор» (Рига, 2007 г.), исследователь русско-латышских литературных связей, восточнославянского и латышского фольклора. Кавалер ордена Трех Звезд. Профессор, хабилитированный доктор педагогики, кандидат филологических наук. Реформатор преподавания русского языка и литературы в латышской школе. Яркий представитель русской культуры в Латвии. В биографическом очерке использованы работы Б.Ф. Инфантьева разных лет, а также сведения из статьи личного биографа Б.Ф. Инфантьева — Ивана Яниса Михайлова «Борис Федорович Инфантьев. Краткая биография».*

**Родина Б.Ф. Инфантьева: Режица —  
Резница — Розиттен**

### Детство

#### «Режицкие дни»

*Борис Инфантьев родился 14 сентября 1921 года в Резекне. Его отец Федор Дмитриевич — офицер бывшей Российской, затем Латвийской армии, после демобилизации работал землеметром; мать Зинаида Ивановна была фельдшером, после рождения единственного сына все свое время посвятила его воспитанию.*

Православные родители мои в делах веры были более индифферентны (тогда была такая мода) и моему религиозному воспитанию сознательно не уделяли ни малейшего внимания. «Вырастет, сам решит, за кем следовать!», — отвечала моя мать известному в Режице отцу Евстратию Рушанову, венчавшему моих родителей и после моего рождения неоднократно указывавшему и отцу, и матери на их пренебрежение к своим религиозным обязанностям, в том числе и к моему церковному воспитанию.

Именно такое отношение моих родителей, особенно матери к моему религиозному воспитанию, ставшему для меня своего рода «запретным плодом», естественно обостряло мое любопытство ко всему, что связано было с верой, потусторонним миром, мистикой.

Именно поэтому во все свои «режицкие дни» (а это были те недели, которые я с матерью проводил в доме ее отца, адвоката), я предпочитал общаться с хозяевами, проживавшими в соседнем доме, — прославленной на весь уезд благочестивой вдовой Анной Петровной Воробьевой, которая денно и нощно молилась перед огромным, во всю стену иконостасом, поминая всех тех окрестных жителей, которые за молитву богато одаривали ее съестными припасами.

Однако не она стала моей вероучительницей и наставницей, а Анна Савельевна Васильева, бывшая прислужница, ныне домоправительница, прижившая от покойного хозяина

дочку Муську, которая также принимала участие в моем приобщении к делам веры. У хозяйев было куда занятней, чем в чопорном доме бабушки. Я с Анной Савельевной ходил на речку полоскать белье, полыл грядки, закладывал в закрома картошку, вместе с ней приговаривал: «Мышка, мышка, грызи камень!», укладывая этот камень тут же рядом, или приучал курицу «пыльновать дом», обнося ее трижды вокруг ножки стула. Но самое главное — это молитвы, которые мы вместе совершали перед иконами, к большому соблазну бабушкиной прислуги, спешившей об этом сообщить моей матери. Но к этому событию мать относилась индифферентно, никаких препятствий мне и в этом деле не чинила. Одна беда: Анна Савельевна не знала наизусть «Верую», и как только дело доходило до этого сложного текста, мы призывали на помощь Анну Петровну. Но и сведений Анны Савельевны было достаточно, чтобы я еще в дошкольные годы хорошо усвоил молитвы «Отче наш», «Царю небесный», «Пресвятая Троица», «Достойно есть», «Богородица». Правда, не каждое слово я сразу воспринимал правильно. Долго я не понимал, что речь идет не о «усяпетой», а «всепетой» Богородице. Некоторые молитвы впоследствии на уроках Закона Божьего в школе приходилось переучивать, вместо «обрадованной Марии» обращаться к «Благодатной», «славнейшую воистину серафим» переименовывать на «без сравнения», а когда позднее я начал учить в школе православные молитвы и в летние каникулярные режицкие недели щеголять своими новыми познаниями в области молитв, то и здесь не все оказывалось «ко двору». Так, молитву перед учением, а именно слово «человеколюбче» мои режицкие учителя оценили как по-еврейски звучащее, сходное, по мнению Муськи, со словом «любчик», тогда как, по ее мнению, Господа Бога достойно именовать только словом «человеколюбец».

Режицкие староверские моленные находились далеко от нашего дома, и я ни в одной из них так и не побывал. Но в Режицкий православный собор Анна Савельевна меня важивала неоднократно, за что неизменно получала выговор от Анны Петровны. Оказывалось, по мнению староверов, что таким «ойкуменистам», путешествующим по разным храмам, придется и на том свете «попутешествовать». Если мне не удалось побывать в староверском храме, то с наставниками однажды пришлось встретиться, причем не совсем при обычном

для староверов богоугодном деле: я читал Анне Савельевне толстовские сказки! Критику духовного сословия моя слушательница оценила положительно, за что заслужила замечание Анны Петровны: «Аннука, не богохульствуй!» А наставники встретили мои книги сверхкритично: «Ведь там правды нет вот ни столечки!», — указал мне мизинцем один из наставников.

Приобретенные в Режице сведения и навыки неоднократно расширялись в последние летние месяцы пребывания в латгальских деревнях, в которых я проводил с отцом и матерью все летние месяцы с 1921 по 1934 год, когда мой отец землемер разбивал в Режицком уезде деревни на хутора. Я с благосклонного разрешения матери принимал самое активное участие в той жизни, которая бурлила вокруг меня — в уборке сена, в огородничестве, а самое главное — в выпасе скота. Скот пасли сообща, а в качестве пастухов — чуть ли не вся деревенская ребятня, я в том числе. Чего только мы не вытворяли на полях и лугах, где паслась скотина. Строили шалаши, устраивали «свадьбы», собирали, варили на кострах кизляки (маслята). Мамаша моя однажды дала девочкам, что постарше, рису и молока, чтобы на кострах сварили мне суп. Как это они там делали, я не знаю, а кормили они меня, приговаривая: «Ешь, ешь, Боренька! Вот уже боженька тебе язычок отрежет за то, что ты в пост молоко трескал!» (а был Петров пост). Я плакал и отбрыкивался от супа. Не помню, что с ним тогда случилось.

Пост для русского человека — очень важный религиозный подвиг. Помню, как мне на немалое удивление та же Анна Савельевна готовилась к Пасхе. Для творожной Пасхи надо было закупить творога и сметаны. И чтобы все было свежее. Так вот перед покупкой Анна Савельевна брала в рот творог и сметану, оценивала их качество и тут же выплевывала, чтобы не оскоромиться.

Пост строго соблюдался и приезжими в Латвию «польскими» батраками (на самом деле это были белорусы). На обед батракам в латышских усадьбах обычно давали вареную картошку с соусом из копченой свинины со снятым молоком. Так в Петров пост батрачки выходили в огород, нащипывали жменю перьев лука, крошили, ели с водой, солью и черным хлебом и тем «сыты бывали». Не забуду так же, как в Петров пост мне пришлось с румынским фольклористом Маринеску, ис-

следователем фольклора румынских староверов, привезти сливочный торт в дни Петрова поста Ивану Никифоровичу Заволоко. На мой недоуменный вопрос, что же делать с тортом, Заволоко примирительно отвечал: «Оставьте! Мои внуки ни в Бога, ни в черта не веруют — слопают». Оригинальное же решение проблемы в те же дни предложил нам с Маринеску собиратель русского фольклора в Латвии Иван Дмитриевич Фридрих. Нас он угощал скромным, сам же с женой ели только постное.

*(«Хождение по верам»)*

### Немецкий детский сад при Лютершуле (школе Лютера)

Но со староверским наставником мне пришлось еще раз встретиться в несколько необычных условиях. Годы мои приближались к периоду школьных лет, и мамаша моя решила испробовать, как я себя буду чувствовать в школе; договорилась со своей подругой, впоследствии известной и заслуженной учительницей Леночкой Толстопятовой, чтобы я пришел в школу посидеть на каком-нибудь уроке в первом классе. Это был урок староверского Закона Божия. Старенький слепенький наставник сидел и что-то невнятно читал по потрепанной рукописной книжонке. А мальчишки бегали по классу, играли в пятнашки... Больше я в Режицкую школу не пошел. Может быть именно поэтому, чтобы окончательно не отбить у меня охоту к учению, в Риге я был определен в... немецкий детский сад при Лютершуле (школе Лютера). Мамаша должна была дать подписку, что она и охотно сделала, что не будет возражать против моего воспитания в протестантском духе. Впрочем, как могу теперь судить, это «воспитание в протестантском духе» сводилось всего-навсего к тому, что во время завтрака дежурный обходил всех с тарелочкой и каждый должен был отрезать кусочек от своего бутерброда или булочки (для кошки). Только теперь, вспоминая прошлое, я подумал, какая же кошка стала бы есть кусочки наших бутербродов и сладких булочек? Что же касается протестантского воспитания... Однажды я был приглашен на именины к своему товарищу по детскому саду Диди Клаумбергу. И оказалось, что в тот же день его обе старшие сестры, типичные русские барышни, причащались и теперь по русскому обычаю принимали поздравления окружающих. Я им завидовал от всего сердца. А дома мамаша еще мои страдания усугубила замечанием: «Что ж

не поздравил?» Откуда мне было знать, что так поступают верующие русские люди?

С лютеранскими пасторами в детском саду мне пришлось впервые встретиться на Рождество. Что они говорили о Рождестве Христа и говорили ли они о Нем что-нибудь вообще, не помню. Но то, что говорили обо мне, — запомнилось хорошо. Была ли елка, — тоже не помню, но что была бетлейка (ясли с фигурой родившегося младенца, Марией, Иосифом и скотом), помню хорошо. Я полез посмотреть, откуда бетлейка питается электричеством, что вызвало смех пасторов. «О! Он будет инженером!», — предрекали они мое будущее, которому не суждено было сбыться.

*(«Хождение по верам»)*

### Школа

Судя по стремлениям моей матери обеспечить мне трудоустроенную жизнь в условиях капиталистической структуры общества Латвии 20-х годов, поначалу предполагалось дать мне немецкое образование (мать сама училась на медицинском факультете Юрьева (Дерпта), хорошо овладела немецким языком и прониклась таким почтением к немцам, что считала немецкое образование верхом совершенства и залогом карьеры). Однако моя тетка после окончания Режицкой 1-й русской гимназии, не принятая в Латвийский университет из-за незнания латышского языка и уехавшая учиться во Францию, где стала великой французской патриоткой и ненавистницей всего германского, в своих письмах добила того, что я все-таки оказался в основной школе при русской частной гимназии Ольги Эдуардовны Беатер — единственной тогда русской женщины с высшим педагогическим образованием.

*(«Через тернии к звездам»)*

В остальном школа оказалась пропитанной православным духом, хотя среди учениц и преобладали еврейки и русские девочки с латышскими фамилиями.

*(«Хождение по верам»)*

### Монархизм

Хотя подавляющее большинство в этой поначалу женской гимназии были еврейки, основное и господствующее направление русской (то есть православной) части ученичества было строго монархическое.

*(«Через тернии к звездам»)*

Монархические тенденции, господствовавшие среди большинства учителей, побуждали учеников посещать особые, политически окрашенные богослужения. Так нас посылали в Христорождественский собор на панихиду по убиенному королю Югославии, на молебен о спасении и здравии увезенного большевиками генерала Кутепова.

*(«Хождение по верам»)*

Не все, однако, родители были ярко окрашенными монархистами. В этом я убедился на одном из концертов, который как всегда в нашей школе начинался «Славой» («на небе солнце ясному»), а продолжение же теперь просто подразумевалось («на земле — государю императору»).

Все встали. Но вот одна разодетая дама из высокопоставленных жен, усевшаяся в первом ряду и тоже поначалу вставшая, разобравшись, что, собственно говоря, поют, тут же демонстративно плюхнулась обратно в свое кресло: хоть и русская, но как жена латышского высокопоставленного лица (все они: министры, профессора, генералы — были женаты на русских бабах) не могла не продемонстрировать своего презрения к свергнутому режиму, кстати сказать, и не без самого активного участия латышей.

Мы же продолжали стоять и по окончании пения страстно зааплодировали. Опять получился конфуз: на этот раз какой-то молодой человек с корпорантскими лентами на груди стал нас вразумлять: если гимну встают, ему не аплодируют. Эти слова я никогда не забывал впоследствии, когда при Улманисе приходилось вставать и страстно аплодировать песне «Lai ligo lerna dziesma», которую Плудонис в годы революции и советской власти в Латвии посвятил Латвийской Советской Республике, на что недвусмысленно намекало содержание песни.

*(«Через тернии к звездам»)*

### Ностальгия по бывшему

После Пасхи мы обязательно писали сочинения о том, как провели каникулы, и учительница приходила в изумление от того, что писали обо всем — о пробуждении природы, о куличах, пасхах и крашении яиц, а о самом главном — о чуде Воскресения Христова и с ним связанных переживаниях не было ни слова. Когда хоронили архиепископа Иоанна, стояли в шпалерах по ходу траурной процессии. Бегали в Христорождественский, тогда еще

Кафедральный собор на панихиду по убиенному югославскому королю Александру и на молебны о даровании здравия и спасения увезенному большевиками генералу Кутепову.

Когда учитель географии Тупицын съездил в СССР и с восторгом рассказывал о достижениях в Советском Союзе, возмущение было всеобщим: и учителей, и родителей, и учеников.

Благотворительные школьные вечера и концерты отдавали особенной стариной, когда в стихах Ведринской звучала такая ностальгия по бывшему, что и нам страстно хотелось побывать на тех вернисажах, о которых она с таким упоением читала стихи и о которых мы имели довольно незначительное представление...

*(«Через тернии к звездам»)*

### Религиозное воспитание

В младших классах нас обучала не первой молодости дама с ярко выраженными старорежимными религиозными принципами и установками Анна Юльевна Ананьева. Утвержденная министерством программа была весьма солидной: библейские и новозаветные рассказы, символика церковного здания, утвари, церковных одеяний, богослужебные тексты и молитвы, которые изучались по особому молитвеннику, наконец, катехизис. В последнем классе основной школы в программе значилось изучение церковнославянского языка. Но на практике оно сводилось к чтению Евангелия и переводу непонятных слов. Со всеми теми графическими и орфографическими сложностями, которыми насыщены учебники церковнославянского языка наших дней, я ознакомился только теперь.

*(«Хождение по верам»)*

Второй раз живого пастора я увидел в действии, как только поступил в основную школу, русскую при частной женской гимназии Ольги Беатер. Умерла девочка из моего класса, и я со всеми своими школьными товарищами принимал участие в довольно сложном ритуале похорон на Большом (тогда еще действовавшем) кладбище. Хоронил девочку немецкий лютеранский пастор и два православных священника. Причем действовали все трое по четко разработанному сценарию. За последними словами пастора сразу начинается пение православных молитв, которые в свою очередь чередуются с лютеранскими



хоралами. Для меня эта была первая школа ойкуменизма.

*(«Хождение по верам»)*

Занятия ежедневно начинались довольно продолжительными молитвами с ежедневным чтением Евангелия. По субботам Евангелие читал сам преподаватель Закона Божьего в старших классах, настоятель Александрийской церкви Перехвальский.

*(«Хождение по верам»)*

Если в учебном процессе преподавание строго регламентировалось министерскими учебными программами и монархическая тенденция не просматривалась, то общая православно-религиозная атмосфера повседневного быта (ежедневные утренние, весьма пространные молитвы, даже с чтением Евангелия, по субботам читал сам преподаватель Закона Божьего отец Перехвальский, настоятель Александро-Невской церкви, уроки Закона Божьего и церковнославянского языка, русской истории и в какой-то мере литературы) всегда была сдобрена недвусмысленными оценками ностальгического склада.

*(«Через тернии к звездам»)*

Но самое главное — пост, исповедь, причащение — все оставалось для меня неосуществленной мечтой. Моя законоучительница Анна Юльевна неоднократно начинала разговор с матерью, но безуспешно. Это, однако, не мешало моей матери и законоучительнице со временем настолько подружиться, что однажды вся моя семья была приглашена на Пасху в их дом к обеду. Самое трагичное для меня было то, что ежегодно приносимые школьными товарищами входные билеты на пасхальную Заутреню оставались неиспользованными, а учительница русского языка и литературы в моих сочинениях о том, как мы проводили пасхальные каникулы (мои сочинения обычно всегда читались перед классом), к своему удивлению, находила и природу, и творожную пасху, и куличи, и крашение яиц, но самого главного — того, чем Пасха отличается от всех других праздников, никак не могла отыскать.

*(«Хождение по верам»)*

### После переворота 1934 г.

1934 год принес радикальные изменения не только в жизнь Латвийской республики, но и в мою духовную жизнь. Почти начисто прекратились контакты со староверами, если

не считать в 1939 году услышанного мною выступления И.Н. Заволоко. Началось знакомство с иными конфессиями и религиозными течениями, что было обусловлено тем, что моего отца после завершения создания латгальских хуторов перевели на другую работу — в кадастральное измерение усадеб в Земгале и Курляндии. «Оседлая» жизнь, постоянно на одном месте. Целое лето в Иецаве, Лестене, Казданге позволяло теснее сжиться с хозяевами, проникнуться их делами и мыслями, участвовать во всех семейных праздниках хозяев, конфирмациях, свадьбах... Тем более что у одной «конфирмадки» я в летние месяцы учился латышскому и латинскому языкам, готовясь к поступлению в латышскую классическую гимназию, а у приверженцев розенкрейцеровского учения учился немецкому языку.

*(«Хождение по верам»)*

Уже в 1933 г. (за год до переворота Улманиса) бывшим поклонником Валерия Брюсова, одним из организаторов его трехдневного чествования в Риге в 1914 г., министром просвещения Атисом Кенинем была сделана попытка предварить осуществленный ныне перевод преподавания в старших классах русской средней школы на латышский язык. Благодаря активному противодействию сильных тогда в Сейме меньшинств попытка эта потерпела полную неудачу. Была она частично осуществлена лишь в 1940 г., когда первый и единственный раз поступающие в университет выпускники русских школ должны были писать отсылаемые в университет письменные экзаменационные работы на латышском языке. Так, например, на филологический факультет выпускница Правительственной гимназии Евгения Жиглевич писала сочинение по латышской литературе, переводы с латышского и французского языков на латышский. Все же выпускные экзамены проводились устно на русском языке. Что же касается преподавания русского языка в латышских школах, он был окончательно устранен после переворота 1934 г. и впредь оставался только в мореходных и непонятно почему в полиграфических училищах. Судьбу русского языка в какой-то мере разделила и русская литература. Прошли те золотые времена, когда во всех залах Латышского общества, окружающих парках и ресторанах на протяжении трех дней 1914 г. чередовались приемы, званые обеды и ужины, посвященные чествованию Валерия Брюсова, или когда латышский поэт и драматург Карлис

Екабсонс летал вместе с супругой А. Ремизова на шабаш ведьм у Стабурага...

*(«Русский язык и русская культура в Латвии в 20—30-е годы»)*

### Проблема латышского языка

В русской школе я познакомился с латышским языком, усвоение которого давалось мне не без некоторых усилий. Несмотря даже на частные уроки, которые я систематически брал у своей школьной учительницы, мои «классные работы» — пересказы никогда мне больше тройки не приносили.

Но вот что интересно: с латышскими народными песнями я близко познакомился уже в эти школьные годы... на школьных переменках. Большинство моих зажиточных еврейских соучениц учились, так же как и я, в различных музыкальных школах. Приносили в нашу школу ноты латышских народных песен и все переменки расхаживали, взявшись за руки, по залу и коридорам, громким голосом их распевая, почему-то к большому неудовольствию учительницы латышского языка.

*(«Через тернии к звездам»)*

### Анекдоты про Карлиса Улманиса

Анекдоты про Карлиса Улманиса свидетельствуют скорее о положительном, нежели резко отрицательном отношении создателя и рассказчика анекдота к предмету анекдота. Осмеянию (или легкому подтруниванию) подвергались отдельные черты политического деятеля (разогнавшего тунейдцев-депутатов Сейма и наведшего порядок в управлении государством), не соблюдавшего предрассудки «демократии», предполагающие очковительство и всеобщий обман всех тех, кто не пробрался (обычно обманом) к политическому пирогу.

К таким анекдотам относятся краткие, как бы вскользь брошенные замечания, каламбуры, такие как превращение почетной ученой степени, присвоенной Вождю — «доктор гонорис кауза» в насмешливое «доктор гуморис кауза». Или превращение имени Карла Улманиса и сопровождающего его непрерывно упоминания о 15 мая по примеру часто используемых в скандинавском титулотворчестве сочетаний имени правителя с последовательностью занимаемого им престола, таким образом: «Карл Май Пятнадцатый»; этот анекдот мне был рассказан по-немецки и звучал соответственным образом.

В анекдотах про Улманиса обращается внимание на чрезмерное увлечение Вождем различными внешними проявлениями латышского патриотизма, о чем наиболее эффективно рассказывается в анекдоте о посещении им сумасшедшего дома: «Улманис приехал в сумасшедший дом, произнес большую речь, велел петь «Лай лиго лепна дзиезма!» («Пусть звучит гордая песнь!»). Сумасшедшие поют, врачи молчат. Улманис: — Почему вы не поете? — Мы же не сумасшедшие!»

Однако типичный для Улманиса, весьма безобидный анекдот запечатлен в сопоставительном рассказе о нем и других вождях тех лет:

«Гитлер, Муссолини, Улманис оказались на тонущем корабле. Гитлер высоко держит поднятую руку — «Пока не утону!». Муссолини без передышки говорит и тоже тонет. Улманис манипулирует руками (показывает, как это делается) и произносит стишок: «Кас дар Дарбу, тас дар Дарбу!» («Кто делает работу, тот делает работу!»)

Второй анекдот, в котором в адрес Улманиса делается некоторый упрек о его делах, критиковавшихся в Европе:

«Гитлер, Муссолини, Улманис умерли. Просятся у Бога отпустить на один день на Землю: у Муссолини в Италии одно болото не осушено, у Гитлера один еврей в Берлине не убит, у Улманиса один дом в Риге не снесен» (имеется в виду снос части старого города).

Оба анекдота бытовали среди латышей, в отличие от первых двух.

С именем Улманиса сочетались и анекдоты о Памятнике Свободы, записанные от русских, даже в стихотворной форме:

«Фигура шведская, звезда советская, сама зеленая — не крокодил».

«Почему надпись «Дзимтеней ун Бривибай» («Родине и Свободе») на Памятнике Свободы? — Потому что там они погребены».

«Почему Мильда смотрит на Известковую улицу? — Потому что сама оттуда». На Известковой улице практиковали девицы легкого поведения. Мильда же — имя самой высшей леди в Латвии, жены Маргера Скуениекса, по слухам, не особенно целомудренная.

*(«Политический анекдот — мощный фактор интеграции»)*

### Уроки Закона Божьего

Лютеранство, как я с ним хорошо познакомился и в продолжительных беседах

с конфирманткой Марией Краузе, впоследствии довольно известной в Риге учительницей латышского языка, а также на торжественной службе в Айзпутском древнем храме, хотя и оставило большое впечатление, но так и осталось лишь впечатлением.

Мое постоянное присутствие на уроках лютеранского Закона Божьего в латышской лютеранской гимназии было встречено и оценено по-разному. Первый пастор, с которым пришлось встретиться в пятом-шестом классах, был рад моему присутствию и неоднократно обращался ко мне с риторическими вопросами, касающимися православия, другой же пастор все опасался, как бы его не обвинили в совращении.

Сам же курс лютеранского Закона Божьего представлял собой довольно основательный, почти вузовский курс религии. По крайней мере, в пятом классе пастор целый год читал лекции по латышской дохристианской мифологии. В латышской гимназии был введен один час в неделю на православный Закон Божий, который преподавался протоиереем (впоследствии протопресвитером), наставником кафедрального Христорожественского собора Иоанном Янсоном. Он же по доброте сердечной так легко отпускал многочисленных своих учеников с урока, что, в конце концов, я остался у него одним обучаемым. В начале урока я с учителем пел по-латышски «Царю небесный» (сам он играл на фисгармонии), затем я пересказывал возможно ближе к тексту Евангелие от Луки — таков был метод обучения.

Когда произошла смена директоров — убрали либерального Лесниекса и назначили директором типичного «чиновника» царского времени Гулена (сам он тоже был православным), новый директор сразу же пригрозил «навести порядок в преподавании православного Закона Божия» и пригласил для этого дела строгого отца Лисмана.

Тот велел нам приобрести изданную в Сербии на русском языке «Историю православной церкви», но я весь последний год обучения проболел и даже не знаю, как проходили новые «строгие» уроки православного Закона Божия.

*(«Хождение по верам»)*

### Еврейский вопрос

На уроках латышского языка я впервые познакомился и с «еврейским вопросом». Дело

в том, что по программе мы должны были читать комедии и Юрия Алунана, и Рудольфа Блаумана, в которых старый еврей-офеня, а иногда (у Блаумана) — и его сын, и будущая невестка принимают в жизни латышшей самое активное участие и говорят, к тому же, на своем специфическом латышском языке.

Так вот, учительница тщательно вычеркивала все реплики евреев, не учитывая даже того, что иногда без этих реплик нарушается логика сюжета. Для чего эта цензура осуществлялась, так и осталось для меня секретом: то ли из боязни знакомить нелатышей с неправильной латышской речью, то ли из боязни оскорбить еврейское национальное достоинство.

Ведь общеизвестно, что ходили тогда иронические высказывания евреев по поводу нового памятника Блауманису, поставленного сначала на улице его имени, а затем перенесенного на место вблизи Бастионной горки. Памятник был выполнен в модном авангардистском стиле, и ценители классического искусства воспринимали его неоднозначно. Был известен анекдот, что якобы евреев это обстоятельство радовало:

— Он нас высмеивал, — говорили якобы они, — так теперь он сам высмеян.

Что думали о распоряжениях учительницы вычеркивать блауманисовские реплики мои соученицы-еврейки, для меня осталось секретом. Правда, тогда я мало задумывался над этим вопросом.

Еврейская специфика моих одноклассниц (мальчиков-евреев в школу не принимали!) осталась в моей памяти в связи с предметом «домоводство». Когда наступала пора жарить котлеты, этот процесс происходил порознь — еврейки жарили свои кошерные котлеты отдельно.

*(«Через тернии к звездам»)*

Хотя подавляющее большинство в этой поначалу женской гимназии были еврейки, основное и господствующее направление русской (то есть православной) части ученичества было строго монархическое. Как это влияло на евреек? Такой вопрос только теперь мне пришел в голову. Тогда он не возникал ни в наших межученических контактах, ни в разговорах по этому поводу наших родителей, которые вряд ли обходили молчанием это не совсем обычное явление.

*(«Через тернии к звездам»)*



**Рижская латышская классическая гимназия (Первая правительственная) и национальный вопрос**

*В 1935 году Борис Инфантаев окончил полный курс основной шестиклассной школы. В свидетельстве об окончании школы по всем предметам стоит высшая оценка — «5», за исключением латышского и русского языков и рукоделия — «4».*

Вместе с моим выпуском завершила свое существование объединенная беатерско-таловская женская гимназия, преобразованная теперь в «Гимназию практических знаний». Новая знакомая моей матери — жена профессора Бориса Виппера (вся рижская белоэмиграция ее уважала как рафинированную советскую шпионку) своих трех сыновей обучала в Рижской латышской классической гимназии (Первой правительственной), куда посоветовала «пристроить» и меня. Именно «пристроить», потому что поступить в латышскую казенную гимназию было почти что невозможно. Что касается евреев, которые овладевали языком в должной степени быстрее русских, то для них, например, в 1-й городской гимназии был установлен процентный минимум, а в классическую их вообще не принимали. Немцы (даже полунемцы) считали ниже своего достоинства учиться в латышских школах. Что касается русских...

Трое Випперов были единственными русскими в классической гимназии. Они вечно приводили в ужас своих воспитателей, хотя бы заявлением о том, что в их доме рождественской елки не будет, так как это — языческий обычай, неуместный в цивилизованном мире.

Одна из бывших выпускниц классической гимназии, проживавшая в американской эмиграции, в своих воспоминаниях, опубликованных в экстраординарном латышском журнале «Trejī vārti», сам факт обучения в латышской гимназии Юрия Виппера (старшего сына профессора) — будущей мировой известности в области романской филологии — назвала «курьезом», правда, не пояснив, в каком значении это слово ею было употреблено. Уж и не являюсь ли в таком случае и я — выпускник классической гимназии — «курьезом»?

В гимназию таких учеников, как правило, принимали после окончания четвертого класса основной школы и — сразу в седьмой класс гимназии, который официально назывался первым подготовительным. За ним следовал второй подготовительный, затем пятый класс

гимназии, далее четвертый, третий, второй и первый — по западноевропейским и старым остзейским образцам. Интенсивное обучение латинскому языку с первых же школьных дней становилось причиной тому, что к следующему учебному году класс приходил несколько поредевшим. В таком случае после договоренности с директором и сдачи вступительных экзаменов по латинскому и французскому языкам можно было занять вождеденное место, так недоступное для инородца в обычное время. Именно по этому пути госпожа Виппер и советовала моей матери пробить мне дорогу в жизнь.

Моего мнения об обучении в латышской школе никто не спрашивал: непререкаемый авторитет матери был так силен, что ни отец, ни моя французская тетка больше уже в счет не принимались — даже если бы они и усомнились в целесообразности такого поступка, это ничего бы не изменило. Но я не имел и никаких оснований противиться: несмотря на монархическое воспитание, ультранационализм и шовинизм мне не прививались. С другой стороны, начинали осуществляться мечты моей ранней юности, когда — после чтения отцом повестей Минцлова о поисках зарытых кладов и чтения на уроках природоведения незабвенной учительницей Клавдией Ивановной Яковлевой рассказов и исторических очерков того же Минцлова из прошлого Риги о кровавой борьбе Христовых дворян-рыцарей с их же верховным владыкой, рижским архиепископом — воображение мое все чаще и сильнее устремлялось к временам прошлым. Теперь эта вождеденная древность начинала превращаться в реальную действительность — с изучением латинского и даже греческого языка.

Благополучно сдав вступительные экзамены по латинскому и французскому языкам, я, наконец, дождался своего первого дня в новой, латышской гимназии. Волновало меня два вопроса. Во-первых, как отнесутся латыши ко мне, русскому? Ведь это был 1934 год. Только что произошел переворот. Националистическая пропаганда теперь стала государственной политикой. И я это знал: газеты «Сегодня» и «Сегодня вечером» мы читали всей семьей ежедневно. Второе: как будет с сочинениями по латышской литературе, тогда как и пересказы в русской школе мне никак не удавались.

Мое появление в классе принесло уже первое «разочарование» в моих сомнениях.



Как только я появился в классе, ко мне обратился шустрый, небольшого роста парнишка, который сразу же спросил:

— Это ты написал «Galeja erglis» («Орла Галея»)?

Я знал по рассказам отца, что брат моего дедушки (по линии отца) там, в Ташкенте, не только занимался астрономическими наблюдениями (у него даже была своя обсерватория!), но и писал этнографические рассказы для юношества из жизни кавказских, поволжских и сибирских инородцев. Этот парнишка прочитал один из рассказов моего отдаленного предка, только теперь уже в латышском переводе А. Есена, напечатанном в серии для юношества «Jaunības tekas».

Потом оказалось, что это был единственный рассказ Павла Инфантьева, который перевел А. Есен на латышский язык и который опубликовали в этой серии. Есена пленило, очевидно, сочувственное отношение русского этнографа к «инородцам», которые в царской России вообще-то большими симпатиями не пользовались.

Скоро последовало и другое мое «разочарование» — не оправдались опасения в трудностях, связанных с латышскими «классными работами». Если в русской школе за изложение я никогда больше тройки не получал, то моя первая работа в латышской школе была оценена четверкой с минусом. И минус этот мне был поставлен не за ошибки в латышском языке, а за одну фактическую ошибку.

Через год, однако, пришел конец моей эйфории. Учителя латышского языка и литературы Рудольфа Грабиса призвали на повторное прохождение военной службы. Его заменил настоящий ксенофоб, который не пропускал ни одной возможности, чтобы не подчеркнуть, что нелатышу больше тройки ставить нельзя. На это он имел некоторое право, так как я, действительно, за 30 минут, отводимых на сочинение, не успевал продумать тему и подобрать нужные слова и выражения. Но когда на экзамене мне было предоставлено целых четыре часа, я удивил своего хулителя и заставил все же поставить мне пятерку. Он объяснил классу это тем, что я, наверное, брал частные уроки.

То же повторилось и на выпускном экзамене. Из всех десяти писавших сочинение по латышской литературе только мне оказалось возможным поставить пятерку. Правда, пред-

седатель экзаменационной комиссии, доцент богословского факультета Людвиг Адамович долго не соглашался поставить мне пятерку за сочинение, мотивируя это тем, что такой трагический персонаж латышской литературы, как Раудуπιете из произведения Рудольфа Блауманиса, я назвал «веселой вдовой». Потребовались немалые усилия моих доброхотов — того же Рудольфа Грабиса и ассистента учителя истории Эльмара Блигане, которые объясняли такую фривольность тем, что ученик этот, мол, всегда стремится быть сверхоригинальным. В конце концов, пятерка была поставлена, и я снова вынужден был почувствовать себя дискомфортно, когда на выпускном акте мне за лучшее сочинение по латышской литературе была вручена денежная премия в 25 латов от некоей ультранационалистической корпорации. Только теперь, после многотрудного изучения национальных отношений, стремления понять и интерпретировать русско-латышские разносторонние контакты в те годы, мне стали понятны подлинные причины, почему тогда Людвиг Адамович так страстно противился пятерке за мое сочинение. Конечно же, не Раудуπιете была тому причиной, а моя не совсем соответствующая национальность. Этого, кажется, тогда не поняли не только я, но и мои доброхоты-учителя.

Все же главным предметом в нашей гимназии был не латышский язык, а латинский. Занимались по шесть уроков в неделю, даже и по субботам. За пять лет моего пребывания в школе сменилось 12 учителей латыни, причем каждый приходил со своими оригинальными методиками, но это, кажется, мало влияло на качество усвоения материала: при каждом преподавателе приходилось ожесточенно зубрить. В последнем классе преподавали даже двое: сам директор читал с нами, комментировал и переводил Горация; инспектор же гимназии — «Римскую историю» Тита Ливия. И на уроках латинского языка не обходилось без политизации: строго следили за тем, чтобы не было никаких следов рейхлиновского произношения, которое было официально принято в школах и университетах царской России и практиковалось в Советском Союзе там, где латынь еще изучалась. Признавалось единственно приемлемым эразмовское произношение, принятое в Кембридже и Сорбонне, даже при чтении средневековых текстов, произношение которых соответствовало рейхлиновским, а не эразмовским установкам. Я, как обычно, и

здесь однажды «сплоховал». Наш учитель истории любил свое «объяснение» нового материала сдабривать латинскими цитатами. Однажды «отвечая» урок, я средневековую цитату произнес по-рейхлиновски.

— Как? Как вы сказали? — последовала возмущенная реплика учителя. Я объяснил, что цитата-то ведь средневековая. На этот раз учитель возражать мне не стал.

В гимназии нашей русскому языку не обучали, а русская литература появилась только в общем курсе зарубежной литературы, где было предусмотрено чтение «Евгения Онегина», «Тараса Бульбы» и, очевидно, в старших классах «Войны и мира». Правда, против последнего наиболее «сознательные» националисты возражали, как и против «Анны Карениной», предлагая их заменить равноценным романом Карла Штраля «Война» и одним романом Анды Ниедры.

Но против этой замены возразили даже такие ультранационалисты, как Людвиг Адамович. С другой стороны, министерские программы оказались обязательными не для всех преподавателей. Если Рудольф Грабис весной предложил нам список зарубежной литературы, которую надо прочесть за лето (там был этот «Евгений Онегин» и «Тарас Бульба»), то новый учитель заменил всю предполагавшуюся для чтения зарубежную литературу одной единственной «Калевалой», которую мы читали и учили наизусть целый год.

Вот эти-то факторы — отсутствие уроков русского языка и литературы — и развили во мне повышенный интерес к этим предметам. У меня, правда, в этом отношении была хорошая база. За шесть лет обучения в русской основной школе я не только успел прочитать всего Пушкина, Гоголя, Жуковского, А.К. Толстого, но обстоятельно ознакомиться и с былинами, и с древней русской литературой, включая поучения Иллариона и Кирилла Туровского. Теперь же я поставил перед собой задачу прочесть всех еще непрочитанных авторов, находящихся в городской библиотеке в алфавитном порядке их расположения на библиотечных полках. Однако из сего благого намерения ничего не получилось — Амфитеатрова я прочел всего от корки до корки, но на Алданове споткнулся. Он в те годы был столь популярным, что его попросту никак не удавалось получить из библиотеки.

Мой план раскритиковала воспитанная в

русско-патриотическом духе Татьяна Потапова, дочь бывшего антрепренера русского драматического театра Бермана: начинать надо с классиков — с Мережковского, со Шмелева. Я послушался, и Мережковский захватил меня целиком и полностью. Как в детские годы Минцлов, Мережковский стал властителем моей души и сердца. Все, о чем только приходилось задумываться, я соотносил с идеями Мережковского, так мастерски представленными в его «Леонардо да Винчи».

(«Через тернии к звездам»)

### Отношение латышской нации в 20-е – 30-е годы к русской культуре

Для того чтобы понять весьма противоречивые и не всегда логически обоснованные явления, связанные с отношением господствующей в 20-е — 30-е годы в Латвии нации к русской культуре, превратившейся отныне в культуру нацменьшинств, надо несколько слов сказать о тех настроениях и взглядах латышей на русскую культуру, которые преобладали накануне этой эпохи — в начале и в первое десятилетие XX века. Единых взглядов и мнений не было. Те латыши, кто в надежде на материальное улучшение переселились в Россию — в Петербург, Москву, на плодородные земли Новгородской, Псковской губерний, в Поволжье и в Сибирь (судя по реалистическим описаниям из их жизни в пространственных романах, повестях, рассказах Антона Аустриня, Виктора Эглитиса, Карла Штраля, Карла Зариня и многих других), быстро ассимилировались. Латыши же Остзейских губерний в непрестанном противостоянии и онемечивании, и обрусению, постоянно «шлифовали» свои националистические навыки и устремления, что становилось для них единственной возможностью сохранить свою национальность в противостоянии натиску как с одной, так и с другой стороны.

Если в 1919 и 1920 годы еще решался вопрос, что Латвии сулит будущее, то в 1921 году это будущее уже определилось, и латыши — теперь уже непрекословно господствующая в Латвии нация — могли начинать подумывать о своих отношениях к культурам меньшинств, в том числе и к русской культуре, прежде всего — к русскому языку. Барометром в этом деле можно было считать ежегодно проводимые Министерством просвещения опросы учителей и родителей о том, какой язык — русский или немецкий — следует считать в латышских школах первым иностранным. В начале 20-х

годов ответ на этот вопрос еще однозначен — пальма первенства и учителями, и родителями всех регионов Латвии всегда отдавалась русскому языку (за исключением Елгавы, где уже с самого начала преимущество всегда отдавалось немецкому языку). По этим ежегодным публикуемым отчетам можно ясно видеть, как с течением лет эти отношения постепенно изменяются в сторону усиления авторитета немецкого языка как первого иностранного. Дискуссия эта с самого ее появления сопровождается многочисленными полемическими выступлениями педагогов, деятелей культуры, политиков. Подробно исчисляются те выгоды — и экономические, и политические, и культурные, и моральные, — которые будут сопутствовать знанию русского языка. Немало и таких выступлений, где не только обосновывается преимущество немецкого как языка мировой культуры и цивилизации, но подчас в ход пускается и политическая пропаганда. И оказалось, что русский язык подвергся злобному политическому осуждению и правых, и левых политических сил. Правые усмотрели в русском языке «большевистскую пропаганду». Эдвард Вирза, кстати сказать, в начале своей литературной деятельности подвизавшийся на поприще перевода на русский язык для горьковского издания стихов Райниса, теперь клеймит постановку райнисовской пьесы «Илья Муромец» в театре «Дайлес» за пропаганду русского (именно так!) большевизма, а генерал Бангерский выходит в отставку в знак протеста против разрешения Райнисом, тогда министром просвещения, демонстрации кинокартины «Броненосец Потемкин». С другой стороны, левое крыло латышской культуры видит в русском языке «отрыжку русского монархизма», и не кто иной как председатель общества Дружбы Латвии с СССР Павил Розитис пишет и публикует злостный памфлет на обрусителей — «Валмиерас Пуйкас», а газета «Социалдемократс» удивляется, что латышам было мало нагайки казаков в 1906 году, если уж они с таким восторгом приветствуют приезд в Ригу хора Донских казаков, который между тем выступал в Рижском цирке, ибо другого помещения для них не нашлось.

*(«Русский язык и русская культура в Латвии в 20—30-е годы»)*

И в русских школах Латвии литературное образование школьников носило несколько специфический характер, завершаясь обзором творчества Толстого и Достоевского.

С Максимом Горьким выпускники русских гимназий познакомились лишь в 1940 году, после не то оккупации, не то инкорпорации Латвии в СССР. Но и ученики школ согласно утвержденной Министерством просвещения программе должны были знакомиться с «Евгением Онегиным» Пушкина и «Тарасом Бульбой» Гоголя, «Анной Карениной» и «Войной и миром» Льва Толстого. Однако оказывалось, что указания программы были рассчитаны только на рядовых учителей. Любой националистически настроенный учитель мог ввести радикальные изменения в отбор материалов для изучения. Так случилось и с моей судьбой в изучении русской литературы в латышской гимназии. Пришедший на смену моему постоянному учителю радикально настроенный юноша ничтоже сумняшеся заменил и Пушкина, и Гоголя и других писателей Западной Европы — «Калевалой», которого мы читали и изучали наизусть «для формирования националистических и патриотических чувств» наизусть целый год. Вышестоящие националистические авторитеты, в первую очередь, пресловутый ультрашовинист, директор гимназии Янис Лапиньш предложил исключить из программ гимназического курса «Анну Каренину» и «Войну и мир», заменив эквивалентными произведениями латышской литературы — романом Карлиса Штраля «Карш» («Война») и каким-то адюльтерным романом А. Ниедры. Но против такого радикального преобразования выступили не менее националистически настроенные деятели латышской культуры — доценты университета Янис Альберт Янсон и Людвиг Адамович. Кстати сказать, первый обосновывал свое возражение тем, что без знания романов Льва Толстого трудно понять некоторые произведения латышской литературы. Курс русской литературы читался и в Латвийском университете — для всех желающих его слушать. Обязательным предметом этот курс, однако, не был ни для кого, поскольку ни университет, ни какое-либо другое учебное заведение учителей русского языка и литературы для старших классов русских гимназий нигде не готовили. Предполагавшие стать преподавателями этих предметов должны были сдать соответствующие экзамены при Министерстве просвещения (экзаменовали те же профессора Латвийского университета) и получить соответствующий диплом. Такие экзамены за все двадцатилетие, насколько мне известно, сдали трое препода-



вателей: бывшие выпускники арабажинских Высших академических курсов Людмила Константиновна Круглевская и Мария Фоминична Семенова; третий был некий бывший офицер царской службы по фамилии Федоров. Курс русской литературы, читанный на протяжении нескольких лет в Латвийском университете профессором Колбушевским (он чередовался с курсом польской литературы) был результатом исследований самого профессора в области русско-польских литературных связей и с этих позиций представлял большой интерес.

Самым примечательным в этом курсе русской литературы был весьма подробный перечень и анализ переходных повестей из польской литературы в русскую XVI — XVIII веков. Сравнительно большое место уделялось литературе XVIII века, влиянию западноевропейского сентиментализма на русскую литературу. В лекциях много говорилось о большой дружбе Пушкина с Мицкевичем. Но из творчества Гоголя профессор признавал ценным только «Вечера на хуторе...», Хлестакова же называл хулиганом, а «Тараса Бульбу» считал, по понятным причинам, такой ужасной книгой, что в руки школьников ее и давать не следует. Весь курс русской литературы завершался Чернышевским. На нем «история», по мнению профессора, прекращалась. Дальше следовала «современность».

Непременным литературным авторитетом и для русских, и для латышей на всем протяжении существования Первой республики был Пушкин. Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», исполнявшиеся все 20 лет только на латышском языке, не сходили со сцены оперного театра. Проводившиеся ежегодно «Дни русской культуры» всегда связывались с именем Пушкина. Особенно торжественно отмечалась трагическая годовщина 1937 года, в связи с этой датой в Национальном театре был поставлен мюзикл Яниса Грота «Смерть Пушкина».

Русскую общественность Латвии несколько смущало несоответствие таких понятий как «мюзикль» и «смерть Пушкина». Но такое необычное сочетание явилось следствием того обстоятельства, что автор этого произведения Янис Гротс, являвшийся не только замечательным знатоком стихов Пушкина, но и творчеством его ближнего круга, решил составить текст пьесы из подлинных стихов всех тех, кто окружал Пушкина в те трагические дни. Таким об-

разом, пьесу Грота можно рассматривать как антологию поэзии 20-х — 30-х годов XIX века в латышском переводе латышского поэта-классика. Кроме этой пьесы, Гроту принадлежит целый цикл стихотворений о Пушкине и его окружении, также ему принадлежат стихи, посвященные русскому поэту и выражающие его чувства любви и уважения к нему. К тому же к 1907 году относится его первое солидное издание собрания сочинений Пушкина на латышском языке, осуществленное литератором Берманом Добра.

Кстати, тогда ни Анне Петровне, ни самому поэту никаких ни памятников, ни мемориальных досок, ни бюстов поставлено не было, как это сделано в наше время. Нельзя не отметить и того обстоятельства, что улица Пушкина была так названа еще в царское время и никогда не переименовывалась, как это произошло с улицей Гоголя, ставшей в 30-е годы улицей Саласпилсской.

Вторым авторитетным русским писателем в Латвии 20-х — 30-х годов был Достоевский. Его с латышами связывала замечательный и непревзойденный эссеист Зента Мауриня, в наши дни ставшая как бы символом латышской этической и эстетической полноценности, писательницей, не превзойденной никем в своей области.

Достоевского будущая латышская эссеистка полюбила уже со школьной скамьи: училась она, разумеется, в русской школе, и там же за лучшее сочинение о русском писателе была удостоена первой награды. Каждую связанную с Достоевским памятную дату латышская писательница соблюдала так бдительно, что и русским своим согражданам иногда указывала на пропущенные или забытые ими даты, связанные с тем или иным событием в жизни их соотечественника.

Федор Достоевский, в свою очередь, очаровал и саму Зенту Мауриню, и многочисленных ее почитателей — не только в Латвии, но — после 1945 года — и в изгнании, по всей зарубежной диаспоре. Латыши были знакомы и с другими русскими писателями, прежде всего с Иваном Тургеневым, Львом Толстым, а позже и с такими, как Владимир Маяковский и Николай Островский. Полностью отрицая вульгарный материализм, лишающий человека всего человеческого, Зента Мауриня находила достойным внимания и талант Маяковского, и родственную ей судьбу физического недомогания и страданий Николая Островского. Что

же касается Достоевского, примечательно то обстоятельство, что ее книга о писателе увидела свет сначала на латышском языке, и только потом была переведена на русский язык.

Похожая участь постигла и такого персонажа русской литературы, как Лазик Ройтшванц. Русский читатель смог с ним познакомиться лишь совсем недавно — только в конце 80-х годов, в то время как латыши прочитали знаменитый роман Ильи Эренбурга уже в 1929 году. Роман печатался с иллюстрациями латышских художников в журнале «Атпута» целый год, в завершение которого Смильгис в театре «Дайлес» по роману поставил спектакль, который затмил собой даже постановку похождения Швейка. Смильгис сочинил концовку в стиле глубоко верующего католика: у могилы матери Рахили появляется сама пра-матерь, которая принимает многострадально-го Лазика в свое лоно.

Как приняли постановку пьесы по мотивам романа латыши? 16 латышских газет и журналов опубликовали положительные, подчас хвалебные рецензии всех ведущих литературных критиков. Еще бы: это ведь был злостный памфлет на советский строй. И только левая печать — Андрей Упит и Эго (Бекковский — самый последовательный ленинец, которого в 1940 году первого поставили к стенке!) — отозвались о постановке критически. Один лишь Григулис подметил, что главная чекистка в Гомеле, которая в романе всех сажает в тюрьму, — латышка (Пуке).

Лазик Ройтшванец был не единственным триумфом Эренбурга в Латвии 20-х годов. Латышские издательства (в том числе и Хелмара Рудзитиса «Граматы Драугс») соревнуются в издании его антивоенных и антиреволюционных романов, выпуская иногда одну и ту же книгу в различных переводах. А. Упит сравнивает молодого автора с Анатодем Франсом, Х. Рудзитис — с Достоевским (!).

Не всем, однако, русским авторам постановки их пьес в латышских театрах приносили одинаковую славу и популярность. Если «Буратино» А.Н. Толстого был принят латышами с ликованием (и, кстати, до сего дня еще значится среди постановок детских театров), то совсем иначе были оценены его «шпионские» или «скандальные» пьесы, как их именовала латышская левая печать. Речь шла о таких пьесах как «Азеф» и «Заговор императрицы».

К русской театральной классике, в отличие от наших дней, латышский театр Первой

республики относился резко отрицательно. За все 20 лет на большой латышской сцене был поставлен только один раз «Лес» А. Островского, и то только в бенефис Теодора Лациса, который прославился как Несчастливцев и на русской, и на латышской сценах. Да еще один раз была поставлена Михаилом Чеховым «Смерть Ивана Грозного» А.К. Толстого, в которой сам режиссер исполнял заглавную роль.

На страницах латышских газет и журналов (в этом плане особо следует обратить внимание на журнал «Даугава») публикуются глубокие и вдумчивые статьи о русских писателях в их юбилейные даты и в связи с их посещением Латвии, в связи присуждением Ивану Бунину Нобелевской премии. Среди авторов — не только русские литературные критики. Особенно продуктивен в этом отношении ведущий литератор Янис Грин. Отдавая должное авторитетам золотого периода русской литературы, он с недоверием относится к веку серебряному. Даже увлечение латышских литераторов Брюсовым вызывает у Грина некоторое опасение. Не расположен он к неутверждающему жизнь Чехову, который для Грина, как и для некоторых его единомышленников, всего лишь нытик.

Как это ни удивительно, страницы латышских не только журналов, но и солидных газет отводятся для печатания из номера в номер «Поднятой целины» М. Шолохова, рассказов М. Зощенко, произведений Ильфа и Петрова, других юмористов. Лучшего разоблачения советского строя и коммунистического руководства в демократической Латвии не могли бы даже и придумать!

Печатаются воспоминания латышских литераторов об их былых встречах с русскими поэтами и прозаиками. Карлис Скалбе в очерках и воспоминаниях рассказывает о своей переписке с Чеховым и Львом Толстым, присылавшими ему по его же собственной просьбе свои художественные произведения, которые малоимущий юноша не мог купить... О встречах с Максимом Горьким в Риге в 1904 году. О том, как К. Скалбе — военный корреспондент в Варшаве, вышагивал рядом с другим военным корреспондентом — Валерием Брюсовым и как они обменивались своими новыми стихами. Брюсов в свое время в какой-то степени изучал латышский язык, поэтому вполне возможно, что слушал стихи Скалбе в оригинале. Андрей Курций вспоминает о своем сов-

местном с Андреем Белым издании в Берлине литературной газеты на латышском языке... Но, кажется, самым примечательным можно назвать главы романа Виктора Эглитиса, где рассказывается о трехнедельном пребывании А. Ремизова с супругой в гостях у родственников автора романа «*Nenovēršamie likteņi*»; о стремлении русского прозаика детально ознакомиться с латышским бытом, традициями, древними богами, о постоянных спорах его с латышским писателем о русских и латышских началах. Страницы эти тем ценнее, что получили самую высокую оценку сына Ремизовых, который прочел их в переводе В. Вавере и Г. Спроге, опубликованные в современной «Даугаве».

Не забывают латыши, и, прежде всего, их писатели русских мастеров слова и в загробном мире. Свидетельство тому — философско-морализаторское стихотворение Херманиса Дорбе «Диспут на небесах» («*Disputi debesīs*») между Бетховеном и Львом Толстым, опорожившим в «Крейцеровой сонате» память о творении великого композитора. В латышской литературе нашли отражение не только русские поэты и писатели, но и персонажи их произведений.

Сказанное, на мой взгляд, подтверждает мысль, что в 20-е — 30-е годы русская литература в Латвии забыта не была. Более того, особенно популярные писатели и их персонажи приобретают новую жизнь в творчестве мастеров латышского слова.

*(«Русский язык и русская культура в Латвии в 20-е — 30-е годы»)*

### Вопрос «профорientации»

Профорientационные намерения мои, сложившиеся при содействии директора Правительственной русской гимназии Георгия Петровича Гербаненко, заключались в следующем: закончить любое отделение филологического факультета Латвийского университета, затем специализироваться по славистике в Ужгороде. Интерес к русскому языку и литературе непосредственно перед завершением гимназического образования у меня сложился вполне определенный, прежде всего из чисто практических, профорientационных побуждений — в Латвии на пальцах одной руки можно было перечесть людей, которые имели право преподавать русский язык и литературу в старших классах гимназии, а подготовка новых кадров не осу-

ществлялась и была связана со сложной сдачей специальных экзаменов при Министерстве просвещения. Причем после ликвидации Высших университетских курсов подготовка к таким экзаменам никем не осуществлялась. Усилению же моего интереса к русскому языку и литературе (особенно древней) способствовало, конечно, еще и то, что в латышской гимназии в мое время ни русский язык, ни литература не изучались. А как известно, запретный плод сладок, а неизучение равно было в моем понимании запрету.

*(«Curriculum vitae»)*

Но вместе с приближением к завершению школьного образования приходилось все более задумываться над вопросом «профорientации», которая, к слову сказать, выступала в эти 30-е годы, годы кризиса и безработицы, довольно остро.

Судя по прожитому и пережитому, в латышской классической гимназии у меня сложилось твердое убеждение, что мне как нелатышу о научной карьере помышлять не пристало. Всюду соревнование конкурентов. Наиболее надежным местом казалась хорошо оплачиваемая и весьма уважаемая работа гимназического преподавателя русского языка и литературы. Таких в Латвии в те годы не готовило ни одно высшее учебное заведение, в то же время старые кадры постепенно выходили из строя. Но как стать таковым? И я посылаю свою мамашу за советом к директору русской правительственной гимназии Георгию Петровичу Гербаненко. На вопрос директора моим родителям, — кем же он хочет стать? — отец в простоте душевной выпалил:

— Директором русской гимназии.

Гербаненко аж подскочил:

— Ну, так пусть он придет ко мне, я ему все расскажу.

Разговор был долгим. Георгий Петрович рассказывал о сложной профессии учителя, о трудном пути филолога к вершинам знания.

— Молодые девицы, поступающие на филологический факультет, думают, что там придется только писать характеристики на литературных героев. Это совсем как дома, соберутся Таня с Маней, и давай обсуждать своих подружек: та хорошая, а та плохая. А ведь филология — это, прежде всего, языкознание, совсем как алгебра или химия со всеми историческими превращениями звуков, формированием диалектов, литературного языка...



Проориентационная же рекомендация была такова:

— Поступайте на любое отделение филологического факультета, после окончания поедете в Ужгород специализироваться по славистике. — Он-то сам был украинцем, поэтому посоветовал Ужгород, а не Варшаву, Берлин или Париж.

*(«Через тернии к звездам»)*

### **Иван Никифорович Заволоко**

Ивана Никифоровича Заволоко впервые я увидел и услышал в 1939 году. Перед концертом воспитанников Гребенщиковской школы — дети пели духовные стихи — их руководитель в прочувственном слове обстоятельно и эмоционально рассказал о происхождении и судьбах этого своеобразного жанра русского фольклора, исчислил содержательное множество и высокую художественную ценность песен, в которых изливается мирозерцание, вера, раздумья, чувства глубоко верующих исповедников старой веры.

Докладчик рассказал о той огромной поисково-исследовательской работе, которую на протяжении многих лет проводили члены Кружка ревнителев старины, собирая духовные стихи Латгалии среди литовских, эстонских и прусских староверов.

Восторженные характеристики идейного и морального содержания замечательной поэзии духовных стихов, призыв уважать, ценить, собирать, исследовать наследие предков вызвали бурную реакцию слушателей, разразившихся бурными аплодисментами. Докладчик вновь оказался на кафедре, поднял руку, успокоил овации и убедительно просил слушателей воздержаться от «рукоплеканий», необычных в староверской среде. Указание это, разумеется, было учтено.

События 40-х — 50-х гг. вывели руководителя Кружка ревнителев старины из моего поля зрения. И вновь я с ним встретился уже в послевоенное время, после его возвращения из сибирской ссылки.

*(«Странички из воспоминаний об Иване Никифоровиче Заволоко»)*

### **Спиритизм и теософия**

Если лютеранство ничего нового не принесло в мое духовное содержание, то существенным вкладом оказалось знакомство со спиритизмом и теософией. Случилось это во время двухлетнего проживания моего се-

мейства в каздангской усадьбе «Трули», в гостеприимной и радушной семье Гутманисов (еще долго потом моя мать обменивалась с хозяйкой рождественскими и новогодними поздравлениями). Сама хозяйка была спиритическим медиумом. Она засыпала и во сне писала письма от давно умершего пастора и писателя Юриса Нейкена. Ею исписано было уже две толстых тетради. Я как-то не интересовался ими и не прочитал написанного. Однако помню, что однажды сам покойный хозяин по радио сообщил о том, что рождается в хлеву теленок, и чтобы все шли на помощь.

Старшая дочь — сельская учительница Алиса была Теософом высокого уровня. Шел 1936 год, и все теософы ожидали 1940 года, когда предполагалось погружение Евразии-африканского материка в морскую пучину наподобие Атлантиды. Поэтому-то Рерихи поспешили уехать в Тибет, верхушка которого, как значилось в предсказаниях, останется на поверхности бушующего океана. Предсказания эти частично сбылись. Начало 40-х годов уподобились концу света для многих. Алиса Гутмане посвящала меня в тайны, знание которых было уделом лишь немногих. А именно: буквы «PM», которые мы все наивно считали сокращенным наименованием музея Рериха, на самом деле означали инициалы Рекса Морея — очередного перевоплощения Иисуса Христа, который успешно проповедовал обновление где-то в Америке и подготавливал людей к очередной мировой катастрофе. Все эти сведения, которыми я обогащался во время ежедневных собраний грибов с Алисой Гутмане, я соотносил со своими знаниями, совсем недавно почерпнутыми из буддийского катехизиса Олькотта и творения Мережковского «Леонардо да Винчи», которое стала моей настольной книгой.

*(«Хождение по верам»)*

### **1940 и 1941 годы**

#### **Университет, советская власть**

Весной 1940 года Борис Инфантьев окончил гимназию и на основе выпускных экзаменов был принят на классическое отделение филологического факультета Латвийского университета (ЛУ).

В университет на классическое отделение филологического факультета я был принят дважды: весной я получил уведомление за подписью декана, известного археолога Франциса Балода, того самого, который одним из

первых бежал из Советской Латвии в 1940 году. Второй раз я был принят осенью в советский университет. Это было время перемен и преобразований, о которых можно было бы рассказывать без конца и края.

*(«Через тернии к звездам»)*

Конкурс в Латвийский университет при Карлисе Улманисе был огромным. Принимали лишь определенный процент русских, евреев и немцев. «Нас было двое русских абсолвентов<sup>1</sup> на филологическом — я и Жеглевич, окончившая правительственную русскую гимназию, — вспоминал Б. Инфантьев, — Все сдали на пятерки, но меня приняли сразу, как выпускника ЛАТЫШСКОЙ классической гимназии, а ее только кандидатом. Сам декан факультета Францис Балодис (кстати, он один из первых улетел на самолете в Швецию) прислал мне извещение о том, что я зачислен. А весной 1941-го меня заново принимали — в уже советский ЛГУ».

*(Николай Кабанов — «7 секретов», № 14)*

В 1940 году окончил я курс классических наук в 1-й Рижской правительственной (латышской) гимназии и был принят на классическое отделение Латвийского университета. Осенью того же года я был принят на то же классическое отделение Латвийского Государственного университета — это новое название рижское высшее учебное заведение получило после установления в Латвии советской власти и принятия Латвии в состав союзных республик Советского Союза.

*(«Curriculum vitae»)*

В бесплатный университет понаехали многочисленные малоимущие русские люди из Латгалии, особенно из наиболее культурной ее северной части — Абрене. И тут же объявляют постановление партии и правительства о том, что в связи с неимоверным ростом благополучия трудящихся бесплатное университетское обучение отменяется. Абренцы, не солоно хлебавши, уезжают обратно восвояси. Проходят собрания студентов, на которых разъясняются новые порядки и установки, права и обязанности, сопровождаемые шумными выкриками корпорантов<sup>2</sup> и других недоброжелателей, всегда находящихся в оппозиции. Вводится новая курсовая система вместо прежней, свободной. И так далее.

*(«Через тернии к звездам»)*

<sup>1</sup> Кандидатов на зачисление.

<sup>2</sup> Членов студенческих корпораций.

Мои планы самым коренным образом были нарушены политическими событиями 1940 года, которые не могли не сказаться на судьбах университета. Было решено, если появятся желающие, организовать на филологическом факультете славянское отделение.

Итак, все мои планы относительно поездки в Ужгород оказались ненужными. Стать славянским филологом стало возможным, и не покидая Риги. Желающие нашлись, и славянское отделение стало полноправной составной частью Латвийского, теперь Государственного, университета. Заведующим отделением была назначена профессор Анна Абеле, славист по образованию, которая вела постоянные курсы по старославянскому языку и занималась также проблемами балтийской экспериментальной фонетики, являясь и в этой области чуть ли не единственным специалистом.

На первом году обучения будущие слависты вместе с другими только что поступившими студентами (курсовой системы к началу нового 1940/1941 учебного года пока еще не успели ввести) должны были сдать «философику», то есть цикл предметов, вводящих в обучение философии, психологии, языковедения, литературоведения, а также целую группу языков: греческий, латинский, западноевропейский (были созданы группы также по изучению итальянского языка). Из специфически «славистских» предметов был единственный — оригинально организованный курс практического русского языка. На занятиях мы узнали много нового о русском языке, его фонетике, морфологии, синтаксисе, особенно о лексикологии. Хотя преподавателю этого курса было строго-настроено наказано не вдаваться в глубинные недра научной грамматики, все же на этих занятиях мы с большим удивлением узнали о той роковой роли, которую в русском языке сыграли такие явления древности, как «падение глухих», как I и II палатализации. Но особенно нас поразило, насколько мало мы знакомы с русской лексикой. Разбирая лексику «Евгения Онегина», мы увлеченно собирали названия транспортных средств, видов одежды, мебели, никак не могли выяснить, кого «повесил» повеса Евгений Онегин.

*(«Curriculum vitae»)*

Но мне повезло. По «требованию трудящихся» организуется новое славянское отделение, и мне никуда ехать уже больше не придется.

ся. Руководитель отделения профессор Анна Абеле, правда, не знает, окажутся ли желающие изучать славистику. Но 10 таких нашлось, и отделение начинает свою деятельность.

Несмотря на шумиху вокруг «преобразований», на самом деле ничего пока не изменилось в системе обучения первокурсников. Они должны интенсивно изучать латынь, греческий, один новый язык — итальянский, ему стала обучать приехавшая из Италии рижанка, которой там теперь учиться уже больше не позволяли.

*(«Через тернии к звездам»)*

Резекненцы Инфантьевы снимали две меблированные комнаты на ул. Антонияс, в семье онемеченных латышей. Многие тогда не верили, что будет настоящая советская власть — и кое-кто с немецкими фамилиями остался. Но потом многие уезжали — и Борис на ледовом катке в советской Риге начала 1941 года (!) удивленно наблюдал немецких офицеров, обеспечивавших репатриацию. Слухи тревожили и русских, и латышей. Последние, впрочем, воспринимали их философски: «Коммунизм уже не военный, большевики изменились, у них конституция, порядок, никаких эксцессов не будет». Инфантьевы жили летом на хуторе в латышской семье — и хозяйка говорила: «Какая разница, кому платить налоги, Улманису или Сталину?» «Сам я ввода войск не видел», — признавался спустя 60 лет Инфантьев. Вот что поразило — так это новые цены. Если раньше пирожное покупали за 20 сантимов, то после уравнивания лата и рубля оно стоило уже рубль двадцать. Костюмы — 1000 рублей! Отец одноклассника Инфантьева по фамилии Даугат владел большим магазином сельхозмашин и попросил Федора Инфантьева провести инвентаризацию для новых властей. Когда пришли Советы, старый Даугат побежал к папе другого одноклассника — Дилле, который был видным социал-демократом: «Ну что, повесят меня сразу?» Дилле пообещал: «Пока я жив, тебя пальцем никто не тронет!» Но все вышло иначе. 16 июня 1941 Даугат через двое суток пути впервые выходит из вагона (семью отправили в другом направлении), и смотрит — ему навстречу тот самый Дилле, который гарантировал неприкосновенность! «Что ты-то здесь делаешь?!» «Еду смотреть, чтоб ты не сбежал...». Так что не только буржуя Даугата, но и социал-демократа Дилле увезли — в один день!

*(Николай Кабанов — «7 секретов», № 14)*

### Новые политические предметы

Притчей во языцех моего первого курса в 1940/1941 году были новые политические предметы и прежде всего «Основы марксизма-ленинизма». Уже на первой лекции мы с удивлением слушали уничтожающий разнос Лениным народников, не имея никакого представления о том, кто такие эти народники и чем они так ужасно провинились перед Лениным. Только когда студент, бывший подпольщик, товарищ Левитанус стал вести семинар по этому предмету и начал с того, что разъяснил, кто такие народники, что-то стало проясняться и в нашем сознании. Правда, очень скоро товарища Левитануса как американского шпиона не то расстреляли, не то сослали, и мы снова должны были зазубривать непонятные фразы.

Как велико было у подавляющего большинства студентов-первокурсников презрение к этому главному предмету, свидетельствует такой случай. Однажды в многосотенную аудиторию студентов пришел лектор и заявил, что он как секретарь райкома был занят другими делами и не смог подготовиться к лекции, поэтому решил провести консультацию и предложил задавать ему вопросы, что еще остается непонятным студентам. Гробовая тишина многосотенной аудитории (там ведь были все студенты, не только 200 первокурсников!) было ответом на его предложение. Я решил спасти честь студенческого мундира, встал и задал вопрос:

— Отчего же люди во всем мире не осуществляют советский строй на базе коммунизма, если он такой справедливый и научно доказанный?

Не помню, что мне отвечал преподаватель, но хорошо запомнил сотни удивленных глаз, полных ненависти: нашелся, мол, активист!

Да, активистом я стал в силу того, что досрочно сдал экзамен по греческому языку (сложнейшему на первом курсе предмету) и победил в социалистическом соревновании, которое в те годы занимало видное место также и в обучении, как в школе, так тем паче и в вузе. Учебный год завершился не совсем благополучно. Зачеты и экзамены порой приходилось сдавать под аккомпанемент сирен, призывающих всех в бомбоубежище. Кроме всего прочего, мне грозила мобилизация в армию (моя бронхиальная астма меня от призыва не освобождала), кроме того, меня как активиста мобилизовали в рабочие отряды самозащиты.

*(«Через тернии к звездам»)*



### Людмила Константиновна Круглевская — советский период

С Людмилой Константиновной, лектором филологического факультета Латвийского университета я познакомился в сентябре 1940 года, придя на первое занятие по русскому языку на только что возникшем «по требованию трудящихся Латвии» отделении славистики. Впоследствии ее слушатели узнали, что наш преподаватель в свое время окончила «Академические курсы» — частное высшее учебное заведение, организованное в Риге эмигрировавшим из России профессором Арабажиным, а затем для получения прав преподавания русского языка и литературы в старших классах гимназии сдавшая вместе с Марией Фоминичной Семеновой и неким бывшим офицером царской армии Федоровым специальные экзамены при Министерстве Просвещения — это была на протяжении всех 20 лет существования демократической Латвии единственная возможность такие права получить.

Поскольку первые десять студентов нового отделения была публика разношерстная в смысле подготовки по русскому языку — из десяти студентов только трое или четверо были выпускниками русских гимназий, — преподаватель должен был изобрести такую методику преподавания, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Никаких пособий по курсу, разумеется, не было. В то же время руководитель славянского отделения, профессор Анна Абеде (выпускник Московского университета, читавшая нам курс старославянского языка — на латышском языке по немецким учебникам — и занимавшаяся преимущественно экспериментальным исследованием произносительных особенностей латышских букв и интонаций) непрестанно ратовала за то, чтобы курс Круглевской не был бы строго научным (то есть историческим или сопоставительным). Главное приобретение, которое я вынес из посещения занятий («лекций») Круглевской — это было глубокое, сознательное знакомство с некоторыми историческими явлениями русского языка, которые не только объясняли совершенно непонятные, нелогические явления русского языка, но и помогали сознательно усвоить основы правил русской орфографии, в которой мы, выпускники латышских школ, не очень были сильны. Особым влиянием на мое дальнейшее продвижение в недра русского языка оказалось знакомство с падением

глухих и происшедшим после этого падения столь существенными изменениями, что даже предположить начальное звучание слова оказывалось почти невозможным. Знакомление нас с падением глухих было в какой-то мере контрабандой, залезанием в недра научной грамматики, и чтобы избежать нареканий, преподаватель нам объяснила, что падение глухих заводит нас в научную грамматику. Преподаватель непрестанно твердила, что с падения глухих следует начинать изучение русского языка на любом уровне, что она де сама пробовала рассказывать об этом явлении русского языка детям, что всегда приводило к хорошим результатам.

Разумеется, падение глухих не было единственной достопримечательностью рассматриваемого курса. Вторым его коньком была лексика. Мы постоянно поражались — до чего плохо знаем русский язык. Лексику мы изучали, читая «Евгения Онегина», останавливаясь на каждом привлеченном наше внимание слове. Как теперь помню, особенно много нам удалось собрать названий различных средств передвижения. Занимались мы и этимологией слов. Правда, очевидно, во избежание «научности» преподаватель не направлял нас к словарю Преображенского — мы пользовались только Далем, но из Даля нам так и не удалось выяснить, почему Пушкин своего героя называет «повесой». Кого он повесил, так и осталось загадкой для меня по сей день.

Из других исследований, к которым мы приобщались на занятиях Круглевской, запомнилось собирание материалов по употреблению предлогов в баснях Крылова. Помнится, что у каждого накопилась основательная картотека собранных материалов. Но основным пафосом уроков русского языка было сопоставление явлений лексики и грамматики не только в русском, но и в латышском языках.

Не все предусмотренное программой в советском вузе Круглевская смогла осилить. Тему «Ленин о русском языке» нам изложил в виде доклада один из наших комильтонов. Содержание его доклада из моей памяти исчезло совершенно, как и представление о самом студенте, через год почившем в рижском гетто.

Уместно будет упомянуть, что Круглевская в эту пору стала незаменимым советчиком и для говорящих на латышском языке. Дело в том, что на первых порах установления новой власти и нового режима появилась необходимость решить большой вопрос, как же

именовать своих коллег и студентов в разговоре. Если на русском языке эта проблема испробывалась довольно просто: именовали друг друга по имени и отчеству, то для латышей такая система была совершенно неприемлемой. И вот тут-то приходит Круглевская с хорошо известным ей опытом Петроградского, позднее Ленинградского университета (ее отец был профессором математики). Гениальный этот опыт, привнесенный теперь Круглевской и на филологический факультет Латвийского университета, заключался в том, что профессора студентов, студенты профессоров, а преподаватели и студенты друг друга стали именовать «коллегами». Латышам, особенно студентам, новшество это так понравилось, что они и саму Круглевскую уже иначе не называли, произнося слово «коллега» с усиленным аканьем и мягким «ль» — «kaļega».

Любовь и уважение латышских студентов Круглевская снискала не только благодаря уважению к латышскому языку и культуре, но и по причине глубокого убеждения в том, что в условиях Латвии каждый славист должен быть хорошо осведомлен и в области балтийской филологии. Именно поэтому она не пропускала ни одной лекции профессора Эндзелина и была бесконечно горда тем, что из всех преподавателей филологического факультета, слушавших лекции профессора Эндзелина по сравнительной грамматике индоевропейских языков, только она одна заметила преобразование профессором названия фонетического явления «*vocalis ante vocalem brevis est*» (гласный перед гласным краток) в «*vocalis ante vocalem brevis fit*» (гласный перед гласным становится кратким). Но Круглевская в повседневных контактах с профессором выступала не только как ученица. После одного экзамена у профессора я пожаловался Круглевской, что экзаменатор оспорил ее же слова, мною воспроизведенные. Речь шла об оценке Эндзелином профессора Фортунатова: «Он был подлинным ученым, который занимался только исследованием и не написал ни одной грамматики, не составил ни одного словаря». Эндзелин меня оборвал: «Так вы считаете, что подлинный ученый это тот, кто не написал ни одной грамматики, не составил ни одного словаря?» Как я тогда ответил Эндзелину, я теперь уже не помню, но Круглевская на мой рассказ ответила: «Я говорила профессору, что студенты этих его слов не поймут правильно».

На такое уважительное к себе отношение

профессор Эндзелин отвечал взаимностью, которая проявлялась не только в доверительных беседах на факультете. Так, он пригласил к себе однажды обеих «русских» дам — Круглевскую и Абеле в оперу. Но случилось так, что кресло Круглевской оказалось рядом с профессорским, в то время как Абеле оказалась в отдалении. После первого действия Абеле из оперы ушла, а Круглевская сочла нужным об этом событии мне рассказать.

Правда, таких близких и дружеских контактов, как с профессорами Колбушевским и Клеманом у Круглевской не складывалось, да и не было надобности Эндзелина, как обоих иностранцев, просвещать в отношении православия, поборницей которого Круглевская до определенного времени себя считала.

В следующем учебном году первые студенты нового славянского отделения слушали курс Круглевской «Стилистика русского языка». И опять были поражены необычной трактовкой развития русской литературы. Вопреки тому, что они учили в школах или познавали в собственных обращениях к русской литературе, оказалось, — у Людмилы Константиновны доказывалось из лекции в лекцию — что, начиная с Пушкина, русская литература не только с каждым новым шагом не становилась все более и более русской, приближаясь к повседневному разговорному языку, но совсем наоборот, с каждым новым художественным произведением литература все дальше и дальше отходила от русского разговорного языка.

Исходя из карамзинской констатации о существовании двух различных русских языков — «младая дева трепещет» и «молодая девка дрожит», — Круглевская вводила нас шаг за шагом в особенности русской «славянизированной речи». Если в предыдущем году «падение глухих» было «основой» нашего мышления и существования, то теперь таким стало определение и использование старо- и церковнославянизмов в русской речи.

Но свои лекции, как оказалось, Круглевская использовала и в некоторых других, непосредственно с задачами курса не связанных целях. Выяснилось, что после того, как прочитав рекомендованные преподавателем «Философические письма Чаадаева», я с недоумением обратился к ней с вопросом: «Какое отношение написанные на французском языке произведения могут иметь к проблемам русской стилистики?», преподаватель призналась, что вынуждена была «покривить душой» и из-за

отсутствия других возможностей познакомить нас с любезной ей идеей западничества при- бегла к использованию тех возможностей, ко- торые были в ее распоряжении.

*(«Светлой памяти Людмилы Константиновны Круглевской»)*

## Вторая мировая война

### Начало фашистской оккупации

Экзамены и зачеты мы сдавали под рев сирен и сигналов о воздушных налетах, и не раз приходилось вместе с преподавателями бежать в бомбоубежище и там завершать свой рассказ о классификации языков или методах литературоведческих исследований. Наиболее активных студентов, в том числе и меня, зачислили в красногвардейский отряд по защите Риги. Но стремительный натиск гитлеровской армии практически осуществить «защиту» Риги не позволил. Первого июля 1941 года под звон колоколов всех церквей Рига встречала своих «освободителей» от советско-коммунистического режима. Всюду развивались красно-бело-красные знамена, в витринах магазинов появлялись вырезанные из книг и журналов портреты Ульманиса и других властителей Латвии. Но такая эйфория продолжалась недолго: гитлеровское командование велело убрать и знамена, и портреты вождей.

*(«Curriculum vitae»)*

### Сельскохозяйственная практика в Джукстской волости

Что будет с Университетом? Никто ничего определенного сказать не мог. Кое-кто из студентов то ли по своим личным патриотическим побуждениям, то ли, чтобы отомстить коммунистам за расстрелянных или увезенных в Сибирь родственников, то ли просто, чтобы заработать что-либо на пропитание, пошел служить в полицию, и с винтовками в руках они ходили по Риге, выискивая коммунистов и евреев. Неопределенное положение, неизвестность были гнетущими. Наконец появилось первое распоряжение университетского начальства, подписанное проректором университета профессором Карлисом Страубергом, известным разносторонним специалистом-филологом, фольклористом и знатоком римской литературы. Всем студентам в обязательном порядке вменялось собраться у здания университета и по доброй традиции прежних лет отправиться на уборку урожая в

Джукстскую волость, где находилась и усадьба профессора Страуберга. Там предполагалось в качестве вспомогательной силы помочь местным хозяевам в уборке урожая.

*(«Curriculum vitae»)*

Следуя не отмененному еще положению ульмановских времен об обязательной сельскохозяйственной практике школьников и студентов, руководство университета собрало кучку студентов (сколько можно было в таких условиях собрать!) и отvezло в Джукстскую волость. Там, на хуторе зажиточного рижского учителя мне и пришлось впервые почувствовать признаки нового режима.

Сначала хозяин привез военнопленного — солдата-украинца. Тот сразу же нам рассказал: «Когда началась война, отец мне сразу же сказал: «Сынок, сразу же сдавайся в плен». В первую войну я был в плену у немцев. Там нас кормили лучше, чем в русской армии. Я, разумеется, так и сделал. И не только я один, но и все наше подразделение». Из уст украинца непрерывно тек бурный поток антисоветских частушек, преимущественно нецензурного содержания, что недвусмысленно характеризовало его отношение к бывшей советской власти. Через неделю хозяин привез другого военнопленного — русского лейтенанта. Его разговоры были совершенно другие. Узнав, что я студент, мой новый собеседник немало удивился: «У нас студенты во время каникул отдыхают в санаториях, в домах отдыха». Я эти слова советского офицера вспомнил позднее, когда слушал по радио призыв Центрального комитета комсомола студентам отправляться в колхозы на уборку урожая.

На хуторе рижского учителя кормили нас неплохо. Я только мучительно переживал полное отсутствие сахара и молока, которое теперь уже полностью приходилось сдавать государству. Один только хозяин (это нас сдружило!) позволил себе выпить по одной небольшой кружечке молока.

*(«Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии. Беседа современника»)*

Мне повезло. В отсутствие хозяина меня забрала и привезла в его дом его жена, за что получила взбучку: как смела без ведома хозяина брать работника. Но поскольку я не предъявлял никаких требований в отношении оплаты моего труда, то хозяин смирился. Нас сблизило и другое: хозяин, так же как и я, страдал от приступов хронической брон-



химальной астмы, и мне не раз приходилось угощать его своими антиастматическими папиросами. Сам хозяин (имени его не помню) был рижским учителем. Кроме всего прочего, ему в Риге принадлежал шестиэтажный дом и в Джукстской волости хозяйство в 20 гектаров, в котором содержалось 20 коров и бык.

Землю обрабатывали батрак из Латгалии (помню его фамилию — Лаукгалис) и батрачка, тоже латгалка. Коров пасла дочь-школьница лет четырнадцати. Диву давался я, как такой, не просто зажиточный, но и сравнительно богатый человек, больной бронхиальной астмой, вставал каждое утро в четыре часа, будил батраков и вместе с ними выполнял все сельскохозяйственные работы до одиннадцати часов вечера. Кормили нас по-деревенски хорошо: в обед картошка с соусом из копченой свинины, иногда перепалал и кусочек мяса, «скаба путра» — что-то в виде молочного супа с крупой. Меня очень мучило отсутствие сахара и молока: все молоко нужно было сдавать государству и только сам хозяин позволял себе кружечку чистого цельного молока. С моим появлением произошла некоторая перестановка сил. Хозяин сразу понял, что ни на какую серьезную физическую работу я не способен. Поэтому было определено мне пасти коров вместо хозяйской дочки. И только в случае острой необходимости, например, при уборке сена, меня тоже включали в эту производственную деятельность, а дочь хозяйина обращалась опять к своей пастушеской профессии. Но это была только одна сторона моей «академической деятельности» на протяжении шести недель июля-августа 1941 года. Эти шесть недель превратились для меня в своеобразный фольклористический семинар. За эти шесть недель моя коллекция фольклорных записей (преимущественно на русском языке) пополнилась огромным количеством новых единиц, да при том еще каких! Пародии на стихи русских поэтов (часто не совсем пристойного содержания), поэмы в стиле «Луки Мудищева», ярко выраженные политические, антисоветские...

Бывало так. После одиннадцати, поужинав, я, батрак, батрачка и хозяйская дочка (она проявляла исключительный интерес к моим фольклористическим занятиям) садились за кухонный стол, и начиналась запись. Не помню теперь, кто меня надоумил заготовить достаточным количеством бумаги и карандашей, чтобы изложить на бумаге весь

этот материал. Впоследствии (кажется, в 60-е годы) две сотрудницы ленинградского Пушкинского дома продолжительное время копировали мои записи, назвав их уникальной коллекцией фольклорных записей подобного характера.

Через неделю после моего появления хозяин привез военнопленного украинца, и мои фольклорные занятия приняли новое направление. Помимо фольклора, пристальное внимание стали приобретать рассказы нового нашего участника вечерних «конференций».

Как только началась война, рассказывал нам дюжий великан-украинец, его отец напутствовал своего сына такими словами: «Сынок, сдавайся сразу же немцам в плен. Я сам в прошлую войну у немцев был военнопленным. Нас кормили куда лучше, чем в царской армии». Сынок свято выполнял заветы отца, да и не только он: в плен сдалась чуть ли не целая дивизия. Кладезь антисоветских частушек новоприбывшего батрака был неиссякаем. Через неделю хозяин привез другого военнопленного — русского молодого офицера. Он очень удивился, узнав, что я студент и таким образом провожу свою «производственную практику». «В Советском Союзе, — говорил мой новый «коллега», — студенты во время летних каникул направляются в санатории, дома отдыха, отправляются в туристические походы...» Эти его слова я вспомнил впоследствии, когда слушал по радио призыв ЦК Комсомола студентам помочь в уборке урожая и в каникулярное время отправиться в колхозы и совхозы.

Шесть недель — положенный для студенческой сельскохозяйственной практики срок истек и, хотя хозяйка меня слезно упрашивала остаться еще на пару недель, я все же решил вернуться в Ригу. Снабженный курицей, двумя килограммами свинины, килограммом масла и 50 рублями денег, я возвратился на круги своя и стал с томлением ожидать начала университетских занятий. Но вот настал сентябрь, за ним октябрь, ноябрь, декабрь... О начале занятий на филологическом факультете не извещалось. («*Curriculum vitae*»)

### Угроза репрессии

Когда я, снабженный курицей, килограммом сала и 25 русскими рублями вернулся в Ригу, город уже был «юденфрей» и евреев вроде и не бывало. Ходили только различные слухи о некоторых недоразумениях, возникавших

в связи с недостаточно четко разработанными идеологическими порядками выявления евреев. В результате же, к примеру, высокого ранга немецкому офицеру пришлось с шикарным букетом белых роз приносить свое извинение госпоже Майкапар по поводу изнасилования и убийства ее дочери, которая была сочтена за еврейку, в то время как она на самом деле была караимкой. По улицам уже не шныряли юные леди в айзсарговских и офицерских мундирах в поисках евреев и коммунистов, только изредка можно было увидеть колонны евреев (в их рядах кое-кто из знакомых студентов), конвоированные шпцманами.

Из витрин магазинов уже первого июля были устранены вырезанные из книг и журналов портреты бывших латвийских вождей, а на рукавах шпцманов вместо красно-белокрасных повязок были зеленые.

Был сентябрь, но занятия в университете возобновлялись только на технических и медицинских факультетах. Мои бывшие товарищи по университету теперь опять изменили свое общественное положение. Кое-кто из них снова превратился в военнотружеников, теперь полицейских. Самое примечательное, что, возвратясь к своим новым функциям, мои бывшие товарищи (может быть даже друзья) не забыли обо мне, преимущественно о моей активности советского студента. Один из них, теперь, очевидно, ставший большим начальником, — Роберт Осис, бывший адъютант командира Латвийской Армии, — с ним я целый 1940/1941 учебный год просидел за одной партой, изучая вместе с девицами из Французского лицея французский язык, — теперь осведомился у другого моего товарища — Штейна, — теперь, очевидно, подчиненным, не следует ли напомнить Инфантьеву о его студенческой активности в советское лихолетье? И только благодаря уверениям Штейна, что Инфантьев не был никаким «сочувствующим», мой бывший приятель оставил меня в покое. Я Штейну был благодарен и эту благодарность высказал на Потсдамском судебном процессе, где Штейна судили как... адъютанта самого Арайса (я об этом факте узнал только на этом процессе).  
(«Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии. Беседа современника»)

#### Беженцы

Не сладкая жизнь ожидала и те довольно многочисленные эшелоны беженцев, которые от времени до времени прибывали из Режицы (теперь более не Резекне, а Розиттен; так

же как и все улицы в Риге, получившие новые названия: Вальтера фон Плеттенберга, Гитлерштрассе, Йоркштрассе. В этой связи придумали даже анекдот: по поводу переименований Елизаветинской улицы говорили: «Елизавета фон Плеттенберг, разведенная Кирова»).

Беженцы — это то население Псковщины, Полоцких и Витебских земель, которое при отступлении, когда немцы все уничтожали, перемещалось сначала в двухнедельный карантин в Розиттен, потом развозилось по сельским местностям, таким образом еще более увеличивая контингент будущих «мигрантов-оккупантов».

(«Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии. Беседа современника»)

#### Вступление в студенческий профсоюз

...Пока я повышал свою производственную квалификацию, изобретая новые методы психологического и физиологического воздействия на 20 коров и одного бычка, а в свободное от занятий время развивая бурную деятельность по собиранию фольклора, в Риге в это же время за моей спиной происходило, как потом выяснилось, весьма интенсивное обсуждение моего прошлого просоветского поведения в 1940/1941 учебном году и о дальнейшей моей судьбе в «Новой Европе». Еще бы: чем только я не занимался в тот страшный («байгайс») год. Сдав досрочно один из сложнейших для первокурсников предмет — греческий язык, я сразу попал на доску почета как победитель в социалистическом соревновании, стал ударником учебы; я начал бесплатно преподавать (правда, без особых успехов) русский язык на каком-то рижском заводе (кстати, там познакомился с таким же ударником, белорусским художником Годицким-Цвирко, о судьбе которого теперь ничего не знаю), по заданию деканата вошел в состав комитета по оформлению колонны демонстрантов факультета, не помню по случаю какого праздника, наконец, *horribile dictu*, был удостоен принятия в студенческий профсоюз, что в условиях тех лет было чуть ли не равносильно вступлению в ряды КПСС.

(«Curriculum vitae»)

#### 1941 и 1942 год — Вторая мировая война

#### Снова угроза репрессии

Кто же теперь, в 1942 году, стал оценщиком моих пагубных действий и судьей? Мои

же однокурсники, «коммилтоны». Первый из них — пожилой уже мужчина, по фамилии Роберт Осис, до сорокового года полковник, адъютант командующего армией генерала Беркиса, ныне студент-историк. С ним мы еженедельно встречались на занятиях французским языком. Группа эта была единственной (желающих много не было). Поэтому в группе в основном были выпускники Французского лицея — самой привилегированной школы в годы независимости Латвии, в которой учились дети министров, генералов, высшей финансовой олигархии, признанных деятелей искусства. «В этой аудитории, — говорил преподаватель французского языка Людвиг Сея, в недавнем прошлом посол Латвии в Литве (именно это местонахождение не позволило ему эмигрировать в дни «мирной» социалистической революции в Латвии), — единственное место, где можно произносить слова «дамы» и «господа»...». Но с Робертом Осисом мы встречались не только на занятиях. Не помню, что, собственно говоря, нас связывало. Может быть то, что мы не принадлежали к кругу «избранных», который сложился вокруг поэтессы Велты Сникере — в ее кружок входили такие тогда уже известные люди, как Андрей Йогансон (впоследствии профессор в Стокгольме), Ольгерт Кродерс... Но как сейчас помню: мы с Осисом куда-то вместе идем, и он по дороге комментирует мне реалии рижской повседневности. Встречаем группу красноармейцев (тогда они еще так назывались), и Осис рассказывает: в латвийской армии никогда капрал или лейтенант не шел по тротуару, если солдаты шли по мостовой, как это теперь делается в «народной» Красной армии. Или: «Представьте себе: замок президента Карлиса Улманиса никем не охранялся!» и тому подобное... Осис, теперь полковник (впоследствии он возглавил небезызвестную 15-ю дивизию Легиона), интересуется, что делать с Инфантьевым? Ведь он же был таким активистом в советское время!

Мою судьбу в положительном смысле решил второй мой «коммилтон», бывший со товарищ по славянскому отделению Штейн (имени его не припомню). Выпускник Аглонской гимназии, он со своим постоянным другом и спутником Пудником (тоже студентом славянского отделения) был постоянным моим собеседником в 1940/1941 учебном году. Наши разговоры касались не только вопросов, связанных с занятиями, с филоло-

гией вообще. Штейн мне много интересного рассказывал об Аглонской гимназии, пытался воспроизвести фрагменты речей папских посланцев, с которыми те обращались к воспитанникам гимназии, учил меня различным «макароническим» стишкам, бытовавшим в среде аглонских гимназистов. До сих пор помню один из них:

Его по полю шатался,  
Mihi puer повстречался,  
Puer камешек схватил,  
Mihi в сарут залепил.

Говорили мы и на политические, и на философские темы и старались поглубже вникнуть в законы непостижимой диалектики, причем и Штейн, и Пудник неизменно радовались, когда мне удавалось решить и правильно ответить на их вопросы. Оба были членами студенческого профсоюза и пытались при любом случае продемонстрировать свою «прогрессивность». Теперь же оба оказались в форме полицейских — «шущманов», как тогда говорилось, причем Штейн — в чине лейтенанта (кажется, даже старшего).

Не знаю, что побудило Штейна меня «реабилитировать», но ответ его Осису (как Штейн мне впоследствии сам рассказывал) был следующим: «Он не коммунист, он только прикидывался из карьеристских соображений». Тем самым мне место в «Новой Европе» было обеспечено.

Когда я возвратился в Ригу, атмосфера в городе не была уже столь гнетущей и подавляющей, как в первые дни «освобождения», когда по улицам патрулировали «люди с ружьями» в самых различных формах и с самыми различными повязками, и ты нигде и никогда не был защищен от того, что и на тебя обратят внимание: ведь ловили не только евреев, коммунистов, активистов, и не было никакой гарантии, что и тебя по чьему-либо доносу не поставят к стенке. Теперь, в середине августа, евреи были все в гетто. Те, кому разрешено было остаться вне гетто (это были жены русских и латышей), подвергались стерилизации и ходили по панели (по тротуару им было запрещено ходить) с желтыми звездами на спине. Правда, еврейское «присутствие» не прекращалось хотя бы в тех слухах, которые ходили по городу, волновали, будоражили. Помню один из таких эпизодов нового фольклорного жанра-побывальщины. Дочь известного промышленника Майкапара была гитлеровцами изнасилована и убита. Однако



потом выяснилось, что она совсем не еврейка, а караимка. И вот немецкий офицер весьма высокого ранга с букетом, кажется, белых роз приезжает к мадам Майкапар извиняться...

Вспомнилась судьба еще одного человека, с которым я сошелся на исходе 1941 года. Выпускник 1-й Городской (латышской) гимназии Перлин, энтузиаст изучения латышского фольклора и этнографии, в недавнем прошлом сотрудник этнографического музея на Югле, в первые же дни гитлеровской оккупации надел на себя мазпулковскую форму (членом этой организации он состоял), надеясь, что это обстоятельство в какой-то мере поможет ему избежать общей участи. Однако ничто ему не помогло: он разделил общую участь евреев в Риге. Такие отрывочные фрагменты доходили до сознания обывателей о жизни в гетто. Об истязаниях и расстрелах никто точно не знал, и ни в каких средствах массовой информации сведений не было. Наоборот, широко пропагандировался фильм о привольном счастливом быте евреев в специальной резервации (где-то в Польше), где существовали свои синагоги, свои банки, свои увеселительные учреждения...

(«*Curriculum vitae*»)

«Среди депортированных в июне 1941, кстати, немало было евреев, — оценивал неожиданный взрыв юдофобских настроений в латышском обществе Инфантьев. — Антисемитизм был официальной политикой Гитлера, а латыши — люди послушные, всегда следуют указаниям вышестоящих властей. Среди латышей было и много таких, которые объясняли мстостью за родных то, что они сразу взялись за оружие и стали охотиться на евреев и большевиков».

Мама Бориса в 1940 г. пошла работать в военный госпиталь. Она еще в Первую мировую была медсестрой — встретила будущего мужа на фронте. Пришли немцы, и из старшей операционной сестры сделали ее ночной сестрой в тифозном отделении. Но знание немецкого помогло...

— Все гитлеровцы из высшего состава армии, приезжая в Ригу, сразу бросались на взбитые сливки — в Германии их было запрещено продавать — и... дружно получали дизентерию. Кто у нее только не лежал — и писатель-наци Вальтер Блем, который ей рассказывал, как был на аудиенции у Сталина. И сам Ланге лежал — начальник СД в Латвии. Когда

я рассказывал это председателю КГБ ЛССР Авдюкевичу, тот даже подскочил: «Вы самого Ланге видели?» Нет, хватит, что его моя мамаша видела. Говорила — замечательно вежливый господин, каждое утро надевал новые специальные сорочки, курил только турецкие сигары... Из высказываний немцев можно было сделать вывод, что они оценивают русских... выше, чем латышей! «Я учил русскому языку доктора Фукса — члена НСДАП. Он очень любил русскую музыку и пригласил меня на гастроль Печковского, который пел дуэтом с Брейхмане-Штейнгеле по-русски в Опере. И мой ученик сказал: «Пиковую даму» можно только по-русски петь». На последнем концерте Смирнова в Большой аule университета мы тоже были — в первом ряду сидели митрополит Сергей и епископ Иоанн Гарклавс. Сергей очень дружил со Смирновым, приглашал его в монастырь и пел там с ним романс «Под сенью акаций»...

Поначалу рижане (разумеется, кроме евреев) даже комендантского часа не замечали. Фукс вообще говорил, что немцы «отличные вояки, но у них скверные дипломатия и спецслужбы». Но после Сталинграда — запретили собираться после 6 вечера. Пришлось нам наши занятия с профессором Чернобаевым перенести на 8 утра. Его, специалиста по западнославянским языкам, немцы привезли из-под Ленинграда. Я видел распоряжение гебитскомиссара Дрекслера, который командовал Латвией, что профессор Чернобаев — не коммунист, а представитель русской интеллигенции, которого надо трудоустроить! Но польский и чешский ему читать не разрешили — только русскую стилистику и белорусскую диалектологию. Никаких книг у нас не было — но в антиквариате были выброшены за бесценность академические советские издания. Конечно, не политического содержания, а филология. А в военном госпитале получали все русские и белорусские газеты, издаваемые для занятых территорий. Но когда нас освободили, мамаша все пожгла.

Сначала русских и поляков в латышский легион СС не брали — но потом стали. Перед самым концом даже меня, с хронической астмой и кучей справок, могли взять. И мы с отцом сидели в квартире, не вылезая. А по подворотням стояли жандармы с собаками. Всех, кто выходил, хватили — и на корабль. По квартирам они не ходили.

(Николай Кабанов — «7 секретов», № 14)

### Религиозное возрождение

Не мудрено, что в такой обстановке моим страстным увлечением стало активное участие в церковно-религиозной жизни, как бы единственной отдушине в той подавляющей атмосфере, в той неизвестности. К тому же я возвратился в Ригу в самый канун Воздвижения Креста Господня и, как говорится, попал «с корабля на бал» — на торжественную службу в Кафедральном соборе (Христорождественском храме). Золотая, необычной формы митра экзарха митрополита Сергия, его несравненный баритон, благолепие служения, мудрые, проникновенные поучения оставили неизгладимое впечатление. И с этого дня я уже не пропускал ни одной службы, чтобы духовно отдохнуть от повседневных тревожных, обыденности и серости бытия.

(«*Curriculum vitae*»)

Но вернемся к первому июля 1941 года. В тот памятный день экзарх Московской патриархии митрополит Сергий с крестом и в полном облачении вышел к верующим из алтаря с возгласом: «Христос воскрес!» Некоторые сочли это кощунством, а немецкое командование все же посадило советского гражданина под домашний арест. И только после выступления латышского священника Лауциса (он написал о патриотических и антикоммунистических достоинствах митрополита целую страницу в латышском официозе) отношение к Сергию изменилось. А митрополит принялся за активное восстановление православной религиозности не только на территории своего экзархата, но и на всей оккупированной территории. Была организована известная духовная миссия, по всей псковщине восстанавливали церкви, крестили детей.

Экзарх не мог, разумеется, уклониться и от политической деятельности. И на страницах русских газет (они все издавались в Риге) появились портреты Сергия и генерала Власова с их рассуждениями о восстановлении православной Руси. Солдат и офицеров РОА постоянно (особенно по большим праздникам) видели в Христорождественском соборе. Экзарх не признавал новоизбранного патриарха и продолжал поминать его на литургии только как местоблюстителя патриаршего престола. Мотивировалось такое непризнание тем обстоятельством, что не все подведомственные иерархи, в том числе и экзарх, присутствовали на избрании патриарха.

Верующим людям особенно запомнилась проповедь митрополита в тот памятный день, не помню которого года, когда Благовещение совпало с Великой Пятницей. Торжественное богослужение снимали на фильм, к великому соблазну верующих, считавших, что перевоплощение хлеба и вина нельзя ни фотографировать, ни снимать на киноленту. После блестящей и убедительной проповеди Сергий изрек и такие вещи слова, которые всем хорошо запомнились: «Сталин — не Саул, и Павлом никогда не станет». После этой службы митрополит сказал: «Я подписал себе смертный приговор». То ли он имел в виду свою проповедь, то ли съемку всей службы на киноленту. Предчувствие экзарха осуществилось.

На похоронах у гроба стояла почетная стража роаовцев, было большое количество немецких военачальников, корреспондентов русских, латышских и немецких газет. Немцы вообще охотно посещали Христорождественский собор, солдаты наивно полагали, что позолота на иконостасах — чистое золото, и высказывались, что такую красоту можно только в России увидеть. Нередко в соборе можно было увидеть девиц из военной или гражданской немецкой службы из Германии в особых коричневых формах с католическим молитвенником в руках. Как это принято у католиков, во время непонятных возгласов и песнопений, в том числе и на латинском языке у себя на родине, участники богослужения читали соответствующие молитвы или предавались соответствующим размышлениям уже в православном храме. Оказалось, что военнослужащим-католикам давались указания — при невозможности посещать в России католические храмы, следует молиться в православных по своим молитвенникам.

Однако не все мероприятия и распоряжения оккупационных властей шли на благо развитию церковности и религиозности. Это, прежде всего, относится к определенным ограничениям во времени, особенно ночном, а позднее вечернем. Пасхальную заутреню православные поэтому начинали не в полночь, а в шесть часов утра, что, конечно, нарушало степень торжественности и впечатляемости самой службы. И только староверы предпочитали замыкаться в своем Гребенщиковском храме на всю ночь, до шести часов утра, чтобы только не нарушать вековых традиций.

(«*Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии. Беседа современника*»)

**Русские и латышский язык  
в оккупированной немцами Латвии.  
Отношение латышей к русским**

В контексте сегодняшних проблем («русские и латышский язык») нельзя оставить без внимания того весьма примечательного обстоятельства, что на протяжении трех оккупационных лет во всех русских школах латышский язык не преподавался ни в одном классе. Второе весьма примечательное новшество в школьной жизни: под руководством комилтона «Рутении» Флауме (скончавшегося недавно в Америке, где он был профессором русской литературы) разработан и издан комплекс новых учебников по русскому языку и чтению, в которых, разумеется, не обходилось без идеологического воздействия на учеников. В новых книгах много внимания уделялось религиозному воспитанию, рассказывалось о церковных праздниках, Пасхе, когда православный человек идет в церковь, «не боясь жидов и коммунистов». Был и такой текст: «Гитлер и русские дети».

*(«Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии. Беседа современника»)*

Занятия на Филологическом факультете были возобновлены весной 1942 года. Восстановлен был устав Латвийского Университета 1938 года, согласно которому славянского отделения не было и в помине. Я было решил вернуться обратно на свое классическое отделение и продолжать осуществление плана, намеченного Петром Георгиевичем Гербаненко. Но Людмила Константиновна Круглевская, ставшая теперь моей наперсницей на почве филологических учений и религиозных исканий, меня переубедила. К славистике ближе всего балтистика и каждый славист в условиях Латвии должен хорошо познакомиться и с балтийскими дисциплинами. В следующем учебном году были введены уставы германских университетов. И там значилось: каждый филолог должен изучать две специальности — главную и вторую. В качестве главной значилась балтийская филология. В качестве второй можно было избирать славистику. Таким образом, моя профориентация закрепилась окончательно. В 1941/1942 учебном году я, если не ошибаюсь, успел прослушать только курс стилистики русского языка у Л.К. Круглевской. Усвоение же остальных специальных дисциплин (в том числе и балтийских) пало на 1942/1943 учебный год.

Как я — русский, притом единственный

русский — почувствовал себя среди латышей, причем латышей истовых, которые в силу уже своих литературных и лингвистических интересов принадлежали, конечно же, к национально и националистически ориентированным молодым людям? И вот приходится отметить, что на протяжении целых двух семестров, пока я числился студентом балтийского отделения, я со стороны студентов ни разу не почувствовал себя чужаком, попавшим не в свою тарелку. Ни разу ни один человек не дал мне почувствовать, что я русский, то есть представитель той нации, от которой латыши после рокового 1940/1941 года, после арестов, расстрелов и депортаций, когда и количественно и качественно пострадали в первую очередь все же латыши, — могли иметь все основания относиться отрицательно.

*(«Curriculum vitae»)*

**Возобновление образования**

Возвратившись в Ригу, я с прискорбием вынужден был констатировать, что новые власти разрешили начинать занятия лишь на технических, сельскохозяйственных и медицинских факультетах. В немецком книжном магазине Холцнера я из Берлина выписал себе учебник египетских иероглифов. Но вместо него мне прислали учебник клинописи. Нечего делать. Выставив в длинных очередях за бескарточным пропитанием, я понемножку осваивал весьма сложную отрасль филологии. И только после Сталинградских событий власти разрешили функционировать филологическому факультету, но вот беда: только по уставу 1939 года. А славянского отделения там и в помине не было.

*(«Через тернии к звездам»)*

**Людмила Константиновна Круглевская  
— период фашистской оккупации**

Я было уж совсем собрался возвращаться на свое прежнее классическое отделение, как в дело вмешалась Круглевская:

— В условиях Латвии каждый славист должен хорошо ориентироваться в близкой и родственной ему балтистике, поэтому переходите на балтийское отделение.

Сказано — сделано. И опять пришлось мне пережить минуты сомнений и опасений. Позади «советский», все же, как ни крути, в подавляющем большинстве своем «русский» год, оставил в сознании большинства латышей кровавый след. А ведь на балтийское от-



деление поступают главным образом матерые националисты!... И на этот раз мои весьма неблагоприятные предположения и опасения оказались совершенно неуместными. Со стороны моих новых коммилтъонов-студентов я ни разу не почувствовал себя пришлым, инородным телом в их сообществе.

*(«Через тернии к звездам»)*

Людмила Круглевская читала курс стилистики русского языка. Однако помимо своих непосредственных задач стремилась воспитывать нас в духе русского западничества. В частности, преподаватель горячо рекомендовала нам читать «Философические письма» Чаадаева. Когда же я выразил недоумение по поводу того, какое же отношение имеют эти произведения к стилистике русского языка, — ведь они написаны по-французски, Круглевская призналась: цель ее предложений не столько связана с читаемым ею курсом, сколько с ее стремлением познакомить нас в сложившейся необычной политической ситуации с мыслями русского почитателя западной культуры.

Свои западнические симпатии Круглевская скоро претворила в жизнь, перейдя в католичество. Сама она с охотой беседовала со мной на тему своего перехода и рассказывала немало занятного.

Когда один из ее новых духовных руководителей — их было двое: прелаты Стрелевич и Стукель — спросил ее о причинах, побудивших изменить веру, так близко соприкасающуюся с новой, она им отвечала, что пришла к католичеству через древнеримскую мифологию. Этим ответом она вызвала немалое удивление своих новых духовных отцов. Как глубоко верующего православного человека кое-что смущало ее в новой религии, например, поданные в Чистый Четверг на приеме у епископа Ранцана бутерброды с телятиной. Но все это бледнело перед теми преимуществами, которые Круглевская усматривала в новой вере, и прежде всего нестигаемая воля, самостоятельность католицизма в отличие от православия, пресмыкающегося, говорила Круглевская, пред любой светской властью. С восторгом рассказывала она, как католическая церковь отказалась вычеркнуть из текста богослужений Великой Субботы предусмотренные каноном молитвы о евреях. Поражала Круглевскую и толерантность современного католицизма; всем католикам-солдатам и офицерам германской армии было разъяс-

нено: находясь в новозанятых местностях России, при отсутствии католических церквей и ксендзов, рекомендовалось посещать литургию в православных храмах, даже исповедоваться и причащаться у православных священников.

После перехода в католичество Л. Круглевская, вместе с тремя другими «девятками», проживавшими в Риге, поделили между собой храмы, чтобы не мешать друг другу ежедневно исповедоваться и причащаться, что она и делала ежедневно перед университетскими лекциями. Строго следовала Людмила Константиновна предписаниям и советам своих духовных руководителей. Свои продовольственные талоны она отдавала другим, а сама кормилась в столовках тем, что оставалось на тарелках, или же заказывала такие блюда, которые можно было получить без талонов, например, хлебный суп. Перед самой эвакуацией гитлеровцев Людмила Константиновна все же поддалась общим настроениям и обеспечила себя килограммом крупы. Духовные руководители оценили этот поступок как отступление от указаний «быть как птицы небесные, которые не сеют и не жнут» и посоветовали этот проступок устранить. При этом сами ксендзы признали, что они в подобной ситуации не отказались бы от запасов. Но они ведь люди... А если претендовать на совершенствование, то необходимо от любых запасов отказаться. И Круглевская поспешила ликвидировать свою крупу. Единственное, на что оказалась неспособной Людмила Константиновна, — это на повторение практики Франциска Ассизского, искусственно портившего пищу, чтобы отвратить желание ее употреблять. «После того как в Ленинграде в 19-м году умер с голоду мой ребенок, я не способна была лить в суп всякие нечистоты, чтобы отвратить вождение к пище». Кажется, не смогла она осуществить и другое требование католицизма — «не создавать себе кумира», пусть в виде кумира выступит даже богоугодное занятие.

Ежедневно Людмила Константиновна отправлялась в свою церковь Марии Магдалины, исповедовалась и причащалась. Там обычно раннюю мессу служил сам епископ Ранцан, и Круглевская всегда умилялась соответствием и уместностью произносимых им слов перед причащением: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в дом мой, но скажи слово, и исцелится душа моя». «Да, — говорила Людмила Конс-

тангиновна, — это так было умилительно, когда дюжий, толстый с красным носом прелат повторял эти слова. Они были очень уместны в это время».

Эмигрировала Людмила Константиновна в 1944 году исключительно по следующим причинам: если попадет в Сибирь (а туда был уже отправлен ее отец, ленинградский академик-астроном за сотрудничество с гитлеровцами), она не сможет ежедневно исповедоваться и причащаться по католическому обряду. Именно только католическую исповедь она считала действенной, потому что ксендз в отличие от православного священника всегда углубляется и детально разбирается в каждом грехе для определения его значимости и весомости.

Так, недостаточно покаяться только в предубодеянии. Ксендз обязательно расспросит, как часто это происходило, с кем, при каких обстоятельствах, что чувствовал при этом совершивший этот грех. Только учет всех этих обстоятельств давал духовному пастырю ключ к решению проблемы.

(«*Curriculum vitae*»)

### Призвание — быть фольклористом

Зато преподаватели отнеслись ко мне с большим интересом и вниманием (как к подопытному кролику!). Лучше всего это высказала доцент Хаузенберга, руководитель семинара по латышским диалектам. Поручая мне анализировать аулейский говор, она заметила:

— Только русский может о нем справиться: так много там славизмов и в лексике, и в морфологии.

Если профессор Э. Блесе спросил у меня самого, где я так хорошо научился латышскому языку, то Эндзелин только осведомился у Круглевской, говорю ли я по-русски, а на экзаменах спрашивал у меня преимущественно то, что так или иначе было связано либо с историей русского языкознания, в частности, с вкладом академика Фортунатова в изучение латышского языка, либо с историей славянских языков — например, с протославянскими формами, аналогичными формам санскрита. Но решающим в моей дальнейшей «профориентации» оказался семинар по латышским народным песням у профессора Лудиса Берзиня. Ассистент профессора Карлис Дравиньш на первом же занятии обратился ко мне с такими словами:

— На нашем семинаре побывали и литов-

цы, и немцы, и евреи, русские же — впервые. Поэтому пусть ничем я не планирую в дальнейшем заниматься, как изучением русско-латышских фольклорных контактов.

Этому призыву я оставался верным и по сей день, какие бы сюрпризы мне судьба ни готовила.

(«*Через тернии к звездам*»)

Иначе было с преподавателями. Они меня восприняли именно как русского. Но восприняли как русского именно в положительном смысле этого слова. Когда я пришел к профессору Эндзелину сдавать экзамен по введению в балтийскую филологию, он сразу же задал мне вопрос о вкладе в развитие изучения балтийских языков Филиппа Фортунатова. А на экзамене по санскриту тот же профессор спросил у меня, как в праславянском языке звучала форма, соответствующая санскритской форме «тешам». О моем экзамене профессор Эндзелин не забыл и на другой день осведомился у Л. Круглевской, владею ли я русским языком. Доцент Хаузенберга-Штурма на семинаре по латышской диалектологии поручила мне анализировать аулейский говор, добавив, что только русский может с такой задачей справиться — так много в текстах этого говора русских слов и грамматических оборотов. Профессор Я.А. Янсон похвалил мою семинарскую работу по анализу драматической техники одной из пьес Адольфа Алунана. Похвалил именно за то, что я обратил внимание на речевую дифференциацию персонажей. И добавил, что это умение навеяно знакомством с пьесами А. Островского, где речевая дифференциация доведена до совершенства.

Но больше всего моя русская национальность пригодилась мне у профессора Лудиса Берзиня на семинаре по латышским народным песням. На первом же занятии ко мне обратился ассистент профессора Карлис Дравиньш, фактически руководивший семинаром с такими словами: «К изучению латышских народных песен обращались на нашем семинаре немцы и поляки, литовцы и евреи. Но русский появился тут впервые. Поэтому пусть изучение латышско-русских фольклорных связей станет основной темой вашей научной деятельности». Тогда на семинаре я прочитал полуторачасовой доклад о латгальской свадьбе (латышей и белорусов). Через несколько лет своей дипломной работой я избрал песню сироты, которая обращается

за благословением перед венцом к умершей матери. Заветам Карлиса Дравиня я оставался верен по сей день, хотя волею судеб я эти фольклорные латышско-русские связи должен был расширить, включая в сферу своих интересов и исследований и языковые, и литературные, и даже исторические взаимоотношения.  
(«*Curriculum vitae*»)

### Религиозный подвиг

С католичеством я встретился поздно, только в 1939 году. Но встреча эта оказалась весьма эффективной (мне ведь уже было 18 лет). Первая встреча состоялась в Остроне Виленского округа, где учитель Валдманис, недавний соцдемократ, сосланный в отдаленную латгальскую местность, и его подопечная школьная начальница местной мазпулковской организации (все в парадных формах) торжественно встречали епископа Ранцана, прибывшего на освящение только что выстроенного храма. На сей раз семейство мое жило оседло целый год в латгальской семье (отец теперь и в Латгалии производил кадастральное измерение старых усадебных хозяйств). Это был единственный пока случай, когда я был удостоен права целовать перстень католического епископа с изображением апостола Петра. Подлинное же и глубокое знакомство с католицизмом началось с 1942 года, когда мой университетский преподаватель Людмила Константиновна Круглевская перешла из православия в католичество. Учитывая эти западнические симпатии нашего преподавателя, мы особенно удивлены не были, узнав в 1942 году о ее переходе в католичество, хотя до этого мы ее знали не только как глубоко верующего православного человека, но и активного деятеля на православном поприще, выполняющим все предначертания церкви, а также активного пропагандиста своей веры инославным. Так, Людмила Константиновна информировала о различных событиях православия своего большого друга профессора Кольбушевского, старалась посвятить его как большого знатока в области эстетики в красоту православного искусства, особых, не совсем понятных католику форм православного богослужения. При этом не всегда достигнутые результаты соответствовали «чаяниям и ожиданиям» глубоко верующего русского человека. Так, после посещения пасхальной заутрени в Христорожественском соборе Колбушевский дал такую оценку виденному и слышанному. «Гипертрофация (пресыщение) формы».

Такой вопрос о причине перехода в католицизм был задан и ее новыми духовными наставниками — епископом Ранцаном, прелатом Стукелем и Стрелевичем. Пересказывая это событие мне, Круглевская, как и многое другое, превратила его в шутку: «Они были немало удивлены, когда я им сказала, что я пришла к католичеству через древнеримскую мифологию. Они так и подскочили». Больше никаких комментариев она мне не дала. Мне же кажется, что причина кроется в том, что католики не допускают расторжения брака, чему, как оказалось, Людмила Константиновна весьма сочувствовала, хотя об этом, по крайней мере, со мной, своим студентом, она никогда не говорила. Нельзя сказать, что все требования и практику католической церкви Круглевская принимала безоговорочно. Так, она была шокирована, когда на приеме у епископа Ранцана в Чистый Четверг к столу были поданы бутерброды с... телятиной.

Слушая ее рассказы и наблюдая за практической ее религиозной деятельностью, я не переставал удивляться последовательности, героизму ее религиозного подвига. Она вставала в 5 утра, чтобы успеть на утреннюю мессу в костеле Марии Магдалины, которую совершал сам епископ Ранцан. Затем шла читать лекции в университет. В эти голодные оккупационные дни проблемы пропитания были первоочередными, но только не у Круглевской. Свои продовольственные карточки она отдавала другим, а сама питалась одним хлебным супом на сахарной свекле, что можно было получить без талонов, или тем, что оставалось на тарелках недоеденным. При этом она сетовала, что не способна повторить подвиг Франциска Ассизского, сознательно портившего пищу, чтобы преодолеть грех чревоугодия. Воспоминания о своем ребенке, умершем в 20-е годы в Петрограде от голода, не позволяли Круглевской портить пищу.

«Девоток» (посвятивших себя Христу женщин) в Риге было три, кроме Круглевской назову еще Логинову, научного сотрудника Домского музея. Чтобы не мешать друг другу, они поделили между собой костелы, и уделом Круглевской стала Мария Магдалина. Рассказывая мне все это, она и тут не утерпела связать, что ей очень нравился епископ Ранцан — большой, толстый, с красным носом. Он был неподражаем особенно в тот момент, когда произносил евхаристические слова: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в дом мой». У-



хала Круглевская из Латвии с немцами только потому, что будучи сосланной в Сибирь (в этом она ни на минуту не сомневалась), она не будет иметь возможности ежедневно исповедоваться и причащаться.

*(«Светлой памяти Людмилы Константиновны Круглевской»)*

Долгие месяцы, проводимые в ожидании начала занятий на филологическом факультете, я старался проводить без ущерба для своего образования. Готовился к экзаменам по прослушанным лекциям, посещал публичные лекции на филологические темы, которые изредка организовывались в Риге, занимался хозяйственной деятельностью (отец, мать работали), выстаивал длинные очереди за продуктами, которые иногда продавались без карточек. (Теперь даже вспомнить не могу, что это были за продукты, но что-то съедобное все же было.) В очередях я интенсивно занимался самообразованием. Моя мечта была познакомиться с древнеегипетскими иероглифами, но вместо соответствующего пособия я получил описание клинописи и стал в очередях знакомиться с этого рода письменностью и литературой.

*(«Curriculum vitae»)*

### **Строители «Новой Европы»**

Мои бывшие товарищи по гимназии звали меня включиться в активное строительство «Новой Европы» — то ли в юношеской организации тут же в Риге, то ли в качестве переводчика в новозавоеванных псковских и смоленских землях. Но мне как-то не по себе было браться за такого рода деятельность, которая так или иначе сопряжена была с необходимостью употреблять оружие. И я без особого восторга воспринимал рассказы моих бывших одноклассников о «подвигах», когда они возвращались с востока с полными чемоданами золота и бриллиантов, приобретенных там, на востоке...

*(«Curriculum vitae»)*

### **Ученики — немцы**

Я предпочел более тихую работу тут же в Риге. Возвратился к своей, уже раз испробованной преподавательской деятельности: взялся обучать русскому языку военного врача, специалиста-окулиста, штабс-архивариуса Фукса из Штутгарта. Он очень гордился своим швабским (южно-германским) происхождением, считая прусаков неполноценными. Фукс был пациентом моей матери, она работала медсестрой

в тифозном бараке военного госпиталя, в ее отделение попадали чуть ли не все немцы, в том числе и самые высокопоставленные; в Риге они набрасывались на сливки, продажа которых в Германии была запрещена, и заболели дизентерией. Среди больных дизентерией, попадавших в палату к моей матери, было немало известных лиц. Однажды ее ночным собеседником оказался престарелый, в те годы довольно популярный немецкий писатель Вальтер Блём. Страдая бессонницей, он долгие часы проводил в непринужденных беседах с моей матерью, в частности, возвращаясь все вновь и вновь к своим воспоминаниям о своей аудиенции у Иосифа Сталина. Увы, в те дни меня такие и подобные факты мало волновали, и я не попытался уточнить, о чем, собственно говоря, беседовал с немецким писателем «Отец и Учитель народов» и беседовал ли он с ним вообще... В тифозной палате однажды оказался и начальник СД Ланге. Он, кажется, ни в какие душевные беседы с моей мамашей не вступал. Единственное, что она могла о нем рассказать, так это о его опрятности: каждое утро он надевал свежую сорочку и подштанники из какого-то особого голландского полотна, пил только французские коньяки, курил только турецкие сигары.

Кое-кто из бывших пациентов матери, наносящих ей визиты после своего выздоровления, начинал пользоваться ее услугами по установлению более тесных и дружественных контактов со знакомыми ей фермерами, обменивая коньяк и табак на шпек, буттер, эйер. Иногда предметы обмена со стороны гитлеровцев приобретали весьма необычные контуры.

Так запомнился мне один ловкий, расторопный разговорчивый фельдфебель (он обратил на себя внимание очень своеобразным немецким диалектом, который с трудом можно было понимать). Фельдфебель этот тащил моей мамаше не только коньяки и табак, но однажды появился целый кувшин с отметкой на дне «Ваффен СС». В другом его чемодане были тарелки с клеймом латышского дома офицеров, в третьем — военные ботинки итальянского изготовления. Так великая германская армия боролась за Новую Европу в оккупированной Латвии.

Знания немецкого языка (мама училась в Дерпте до Первой мировой войны) и повышенная коммуникабельность приводила к тому, что все ее пациенты по выздоровле-

нию наносили нам визит, а доктор Фукс стал постоянным другом нашей семьи. Занятия наши были столь же безуспешными, как и в советское время. Я никак не мог научить своего ученика правильно произносить слова «зуб» и «суп». Когда я приходил на занятия, мой ученик начинал меня упрашивать освободить его от умственных напряжений: он так устал на работе, что предпочитает мне что-то рассказать. Вместо того, чтобы учиться, Фукс начинал бесконечные рассказы о различных культурных делах.

Сам он был большим поклонником музыки, боготворил Рихарда Вагнера, несмотря даже на его якобы полуеврейское происхождение. Отец Вагнера, по секрету сообщал мне мой ученик, был еврейский скрипач. Этим и объясняется чарующая прелесть вагнеровской музыки. Настоящий чистокровный ариец никогда не смог бы создать такую «интеллектуальную» музыку. Информация о неарийском происхождении Вагнера находится в Германии под запретом, добавлял мой ученик. И ее разглашение карается смертной казнью. Не переставал сетовать доктор Фукс, кстати, член НСДП (национал-социалистической партии), и по поводу тех несправедливостей, которые чинят руководители его партии по отношению к евреям. Это не мешало, однако, Фуку жить в еврейской квартире и раздавать книги бывшего хозяина этой квартиры, судя по его библиотеке, философа, всем желающим.

Мой ученик стал источником моего культурного обогащения. Его стараниями я не раз оказывался в бельэтаже Оперы, на концертах. После совместного посещения «Пиковой дамы» с Печковским-Германом и солидарной с гастролером примадонной Брейхман-Штейнгеле, которая дуэты с Германом исполняла на русском языке, Фукс высказался: «Это надо только по-русски петь!». Почему-то немецкий доктор невзлюбил Алуду Ване, утверждая, что поет она неверно.

Запечатлелось в моей памяти совместное с моим покровителем посещение последнего концерта известного певца Смирнова. Певец извинился перед слушателями, что «он не в голосе». Это была правда. В эти годы он обычно концертов уже не давал, а занимался песенным искусством в те нередкие минуты, когда посещал своего друга митрополита Сергия. Дуэтом они в такие минуты встречи распевали «Под сению акаций», и монашки

прятались от соблазна в отдаленные концы монастыря.

Мы с Фуком присутствовали и на отпевании Смирнова, на которое не суждено было попасть митрополиту Сергию: он по дороге из Вильнюса в Ригу был убит после своей знаменитой антисоветской проповеди и вещего изречения: «Сталин — не Саул и Павлом никогда не станет». Сам владыко понимал значение этой проповеди, которую, как и всю службу, снимали, к великому искушению верующих, по мнению которых «великая и страшная» тайна евхаристии не подлежит ни фотографированию, ни другим любым съемкам. «Я подписал тогда свой смертный приговор», — будто бы сказал тогда владыко своему окружению.

(«*Curriculum vitae*»)

## 1943 и 1944 год — Вторая мировая война

### Окончание университета

Следующий, 1943/1944 учебный год принес некоторые изменения в лучшую сторону. Латвийский университетский устав был заменен стандартным германским, соответственно которому каждый студент должен был приобретать две специальности — основную и дополнительную, и рядом с балтийской это могла быть славянская филология.

Год этот пополнился и новыми преподавателями на славянском отделении. С сопроводительной рекомендацией о трудоустройстве самого гебитскомиссара доктора Дренелеса в университет был прислан плененный под Ленинградом (на летней даче) профессор Ленинградского университета Виктор Григорьевич Чернобаев. В первый год он нам не читал ничего, что было бы связано с западнославянской культурой. Читал курс русской стилистики, который мы уже прослушали в предыдущем году у Круглевской, и белорусскую диалектологию. Учебников у нас никаких не было. Профессор писал на доске текст белорусской сказки, и мы ее анализировали. Сказка называлась «Бусел (аист) — святой птах». И мы своего профессора также называли, как это студенты обычно делают, Буселом.

Но вот в 1944 году запретили после 18 часов выходить на улицы, а я с 9 до 18 часов должен был находиться на работе. И вот профессор приходил читать нам лекции с 6 часов утра. Мы с Семеновой обычно опаздывали, и когда приходили, профессор в ожидании сво-

их слушателей читал газету «Дойче Цайтунг им Остланд».

Осенью 1944 года, после новой «смены вех», славянское отделение восстановило свою полноценную работу. Профессор Чернобаев стал читать польскую и чешскую литературу, научные курсы этих языков. Появились новые преподаватели. Профессор Болеслав Ричардович Брежго — «славянско-русскую палеографию», белорусскую полемическую литературу XV—XVI веков, произведения польских классиков XVI—XVII веков.

Я окончил университет и получил диплом с отличием, не прослушав ни одного научного курса русской грамматики, ни одного серьезного курса по русской литературе, не говоря уже о таких тонкостях, как методика преподавания русского языка и литературы в школе...

Отделению славистики в Латвийском университете не было суждено укрепиться надолго. После смерти Чернобаева и изгнания как политически несоответствующих Брежго и ассистента Павла Константиновича Бруновского как метеор промелькнула некая Стеклова, специалист по польскому не то языку, не то литературе, после чего кафедра славистики была преобразована в обычное отделение русского языка и литературы самого низшего провинциального пединститутского уровня.  
(«Через тернии к звездам»)

Для студентов славянского подотделения балтийского отделения одной из главных лекций, прослушанных мною в это время, был курс старославянского языка, который читала профессор Анна Абеле. Записалось на ее лекции три студента: я, студент балтийского отделения Петерис Клявиньш (один из тех, кого считал подлинным ученым профессор Эндзелин, редко признававший кого-нибудь из своих студентов достойными звания языковеда) и некий Бернхардс (имени его не помню), который к тому времени был уже лицензиатом богословия и числился студентом отделения германской филологии. Впоследствии в Америке он заново перевел Библию с древневрейского языка на латышский; она была издана под редакцией профессора Лудиса Берзиня. Профессор Абеле вела занятия дифференцированно, в зависимости от аудитории. Если на занятиях присутствовали Клявиньш и Бернхардс, она читала им лекции. Если на занятия приходил один я, профессор мне лекций не читала — с теорией я могу-де познаться самостоятельно, а разбирала текст

Зографова Евангелия — самого древнего старославянского памятника, восходящего чуть ли не к X веку.

Еще в 60-е годы Л. Круглевская писала мне из Америки, там она занималась изучением индейских диалектов. Анна Абеле в американской эмиграции была лишена возможности продолжать научную деятельность.

Курс русской литературы вел профессор Станислав Колбушевский. Его несколько лет тому назад пригласили из Польши для чтения общелитературных курсов, истории русской и польской литератур. В курсе русской литературы главное внимание профессор обращал на древнюю литературу, рассматривая ее с позиций западноевропейской науки, с таким недоверием относящейся к древним памятникам (в том числе «Слову о полку Игореве»). Много часов было уделено (и в этом отношении курс профессора Колбушевского был уникальным и своеобразным) переходим повестям XVI — XVII веков, которые переходили из Польши через Украину на Русь. Творчество Пушкина и его отношения с Мицкевичем занимали в лекциях профессора, разумеется, видное место, зато Гоголю явно не повезло. Из всего творчества этого писателя профессор Колбушевский признавал только «Вечера на хуторе близ Диканьки». Хлестакова просто называл хулиганом, а про «Тараса Бульбу» говорил, что это «чистый ужас». Курс свой профессор завершал Чернышевским, после которого история литературы переставала существовать, наступал период «современной русской литературы».

Судьба профессора поначалу складывалась весьма печально — как польского подданного гитлеровцы его арестовали, но вскоре выпустили, и он смог продолжать чтение своих лекций.

Выдающимся событием на славянском горизонте Рижского университета (в 1942/1943 годах он официально именно так именовался) стало следующее.

Гитлеровское начальство прислало в университет новую учебную силу — профессора Ленинградского университета доктора филологических наук Виктора Григорьевича Чернобаева. Его гитлеровцы взяли в плен где-то под Ленинградом на даче и привезли вместе с теткой (она, как рассказывали, была завернута в одеяло) и четырехлетней дочкой. В ректорат университета В.Г. Чернобаев пришел с небольшим клочком бумаги, на котором



за подписью самого рейхскомиссара Дрекслера было написано: В.Г. Чернобаев никакой не коммунист, а представитель русской интеллигенции. Рейхскомиссар просил принять русского профессора на работу в университет. Просьба была удовлетворена, и В.Г. Чернобаев был зачислен в штат университета в качестве лектора. Несмотря на такой неакадемический чин нового преподавателя, филологический факультет во главе с профессором Эндзелином оказал Чернобаеву профессорские почести: на его первой лекции присутствовали все преподаватели факультета.

Профессор Чернобаев был специалистом по польской и чешской литературам и языкам, но этих курсов ему читать не разрешили (очевидно, по согласованию с гитлеровским начальством). Чернобаев стал читать стилистику русского языка (несмотря на то, что такой курс был уже прочитан Круглевской), вел семинар по белорусской диалектологии. Свое первое занятие по второму предмету Виктор Григорьевич начал с того, что написал на доске текст белорусской сказки «Бусел — святы птах». С тех пор мы, студенты, стали величать профессора «Буселом».

На первых занятиях слушателей было человек пять-шесть. Потом это количество постепенно уменьшалось. Иногда появлялись какие-то невиданные студенты, то в форме РОАовцев, то в штатском. Обычно повторно они не приходили. Из таких случайных посетителей запомнился мне некий Воронов, который умел очень эффектно и красочно рассказывать, как в РОА истязают советских военнопленных, отказывающихся вступить в ряды РОА (обматывают пальцы ног соломой и поджигают, раздавливают половые органы). Другой случайный посетитель, Флаум — позднее он эмигрировал в США, где занимался преподаванием, — предложил участвовать в составление нового учебника по русскому языку для школ. Постепенно выкристаллизовались два постоянных слушателя профессора Чернобаева: я и Мария Фоминична Семенова, которая в свое время уже окончила курсы Университетских знаний, сдала при Министерстве образования экзамены на право преподавания русского языка и литературы в гимназии, а теперь, в 1942 году, поступила на Балто-славянское отделение филологического факультета. Позднее она преподавала в Латвийском университете...

К весне слушание лекций профессора

Чернобаева осложнилось тем, что начальство запретило собираться после 18 часов, а я до этого времени работал, и с работы меня на лекции не отпускали. Договорились приходиться на лекции профессора Чернобаева в 6 часов утра... Как правило, и я, и Семенова на лекцию опаздывали. Когда мы приходили, профессор всегда уже сидел и читал газету «Дойче Цайтунг им Остланд».

Кроме специально «славянских» предметов приходилось, как уже говорилось, слушать и балтийские предметы, изучать литовский язык. Кроме того, были и специфически «оккупационные» предметы: евгеника (или «еугеника») — учение о чистоте рас и экономика Новой Европы, где излагалось, какое место займет территория Латвии в Новой Европе после победы гитлеровцев, буде латыши будут вести себя послушно и соответственно нуждам и потребностям гитлеровцев. Приходилось иногда слушать и краткие циклы лекций, которые читали призванные в вермахт и облеченные в военную форму военно-служащие-историки. Помню такой цикл об императоре Генрихе IV. Читал один немецкий фельдфебель на немецком языке. После прослушанного цикла все получили зачет без всяких проверок, ибо отвечать на немецком языке могли лишь некоторые.

(«*Curriculum vitae*»)

...Учебный 1942/1943 год был завершен спокойно, но печально. И так редкие на филологическом факультете ряды студентов мужского полу поредели. Остались считанные единицы... Но самое ужасное — это страшные предсказания о надвигающемся ужасе в лице наступающей Советской Армии, о которых не прекращали трубить все средства массовой информации, которые вселяли страх и отчаяние. Где тут было думать о свадебном ритуале и о грамматических особенностях белорусского языка. И все же из преподавателей поддалась этому психозу лишь часть. Уехали Анна Абеле и Людмила Круглевская. Решение остаться нашей семьи основывалось на советах одного из очередных пациентов моей матери, бывшего немецкого социал-демократа и антигитлеровца: «Зачем вам уезжать? Война окончена. Гитлер капут. Борис поступит в беспризорные (он имел в виду «в комсомольцы», смешивая оба эти русские слова), и все будет в порядке».

И мы остались.  
(«*Curriculum vitae*»)

### Друзья — Штейн и Пудник

Спокойная, «безмятежная», хотя и впроголодь жизнь в «освобожденной» Латвии продолжалась недолго. Вскоре над мужским населением нависла угроза мобилизации в гитлеровскую армию. Немало местных жителей свою судьбу связало с тем или иным участием в военных силах Германии уже с самых первых дней оккупации. В том числе и мои друзья Штейн и Пудник. Встречаясь с ними, я, однако, не много узнавал о роде их занятия. У меня создалось впечатление, что они только и делают, что сопровождают евреев на работу и обратно в лагерь. Только через 20 лет я узнал, что мой друг Штейн был не более и не менее как адъютант самого головореза Арайса. Что побудило их обоих взяться за оружие, для меня и тогда, и теперь остается книгой за семью печатями. Другие случаи оказались более прозрачными и понятными. Чуть ли не через день после «освобождения» я встретил своего бывшего гимназического одноклассника Киселиса, сына начальника рижской полиции, выведенного «в расход» чуть ли не в первые дни советской власти. «Иду отомстить за отца», — сказал он мне безапелляционно.

Мои контакты с недавними однокурсниками не прекращались и в новом, 1941/1942 учебном году, хотя академические склонности скоро разойдутся: Штейн перейдет на германское отделение — теперь это конъюнктурно более перспективно, Пудник вообще занятия в университете прекратит. Оба теперь в форме шуцманов — это не совсем «полицейские»: у тех главная задача смотреть за порядком и спокойствием мирных граждан. У шуцманов — прежде всего — способствовать претворению в жизнь приказов гитлеровского военного командования, позже — гитлеровской гражданской администрации.

Впоследствии на процессе Штейна в Потсдаме меня судья спросил: «Как вы объясняете то немало удивительное обстоятельство, что выпускник католической Аглонской гимназии, вся школьная жизнь и процесс воспитания в которой был проникнут гуманизмом, идеей христианской любви, берется за оружие и начинает ловить и притеснять братьев?» Не помню, что я отвечал, кажется — необходимостью думать о хлебе насущном.

Как бы то ни было, но томительное и бездейственное ожидание начала занятий в университете приводило меня и на квартиру моих бывших однокашников: они ведь вроде

стояли у источника информации о том, что происходило, а главное того, что имело произойти в недалеком будущем. Новая квартира моих друзей располагалась в шикарном месте, где-то в районе Гертрудинской улицы. В квартире сохранились еще следы совсем недавнего пребывания в ней благочестивых евреев. В шкафах — ермолки, платки, которыми мужчины покрываются при богослужении, на стенах кубики с изречениями из Торы. Рассмотрение этих предметов занимало немало времени моего пребывания в гостях у друзей.

Вторым объектом наших «исследований» были довольно многочисленные предметы эротического содержания: игральные карты с довольно фривольными изображениями дам, валетов и королей, пепельницы с не менее фривольными барельефными украшениями. «Вот чем они (то есть евреи) занимались, — неодобрительно говорили мои друзья. Эти высказывания звучали как бы стремлением найти объяснение и извинение той деятельности, которою оба теперь занимались. Ничего более подробного оба товарища мне не говорили, кроме того, что они сопровождают евреев из гетто на работу и обратно. Только однажды заметили, что в числе эскортируемых ими они встретились и с одной своей бывшей коллегой по университету.

Я не только несколько раз посетил своих однокурсников, но однажды привел к ним и своего ученика, немецкого майора — врача, доктора Фукса. Причина посещения — весьма прозаическая: Штейну и Пуднику из деревни — их родного края привезли баранину, и я отводил к ним своего ученика, который выполнял в нашей семье не только роль мецената-покровителя, но также пользовался благосклонно-стью моей матери в отношении снабжения его различными съестными, преимущественно мясными продуктами, выменивая их у знакомых моей матери фермеров на коньяк, табак, шоколад, кофе, что в те дни можно было приобрести только таким путем. Со Штейном и Пудником мне приходилось встречаться и впоследствии (разумеется, вне университетских стен), когда они приезжали в Ригу в отпуск, кажется из Волховских болот (шуцманы — не знаю, все или менее успешно действующие, — отправлялись на фронт). Встретился я с ними на концерте хора Бобковица. Запомнилась мне эта встреча тем, что корреспондент Даугавпилсской газеты, тоже в недавнем прошлом студент филологи-

ческого факультета Виктор Воногс обратился к моим друзьям с просьбой написать в газету о своих фронтовых делах. Выполнили ли Штейн и Пудник эту просьбу — не знаю. («*Curriculum vitae*»)

### Легион СС

Однако на первых порах тяга в гитлеровские военные подразделения была не особенно сильной, и гитлеровское командование вынуждено было применить более активные средства воздействия. Поначалу это был набор в «гешпаннфюреры», то есть в извозчики или возницы, осуществлявшие транспорт немецкого оружия, самих войск. Кто не хотел унизиться до «гешпаннфюрера», тому предоставлялась возможность добровольно вступить в латышский легион. Сначала для этого были определенные ограничения, например, не ниже определенного роста (не помню, сколько сантиметров должен был иметь кандидат). Но после Сталинградского поражения началась интенсивная мобилизация в легион. Первое время от мобилизации освобождались все русские и поляки. Благо в советских паспортах была отмечена и национальность, в отличие от паспортов независимой Латвии, где национальность отмечена не была, и определение принадлежности к русской или польской нации затруднений не вызывало. Но через некоторое время и эти ограничения были сняты, и мне пришлось подумать о том, как избежать несимпатичной для меня, как уже отмечалось, встречи с ружьем. Оказалось это не так уж трудно в связи с моей хронической бронхиальной астмой, которая мучила меня уже с 1939 года. В последние месяцы перед эвакуацией гитлеровцев при мобилизации не делалось исключения ни для кого, но я, опять-таки заручившись вескими бумагами о постельном режиме, просто на комиссию не явился. Никто меня специально не искал. Врачебные свидетельства оказались ненужными. Правда, нам с отцом пришлось около месяца обречь себя на добровольное затворничество. По магазинам ходила мать, а мы же с отцом сидели дома и смотрели в окно, как в нашей подворотне стояли жандармы с собаками и всех выходящих мужчин сразу же забирали и отводили на корабль. Но по квартирам они почему-то не ходили.

(«*Curriculum vitae*»)

В многочисленных и частых дискуссиях, спорах и противостояниях, как только начина-

ется разговор о латвийцах в рядах Легиона СС, нередко поднимается вопрос о незаконности мобилизации на оккупированной территории Латвии. Но вопрос решаем не столь однозначно. Дело в том, что все это делалось против желания, за исключением добровольного вступления в легион тех юношей, которые считали своим долгом отомстить за убитых или увезенных в Сибирь родственников, или просто «пожить всласть».

Латыши даже сочинили песенку: «У кого нет, что есть, и не у кого взять займы, тот должен идти служить в Легион». Так вот, поначалу это была не мобилизация в Легион, а принудительное назначение на работу в военные части немецкой армии в качестве кучеров, подвозивших к линии фронта амуницию и провиант на лошадях, поскольку в Волховских болотах никакая немецкая техника не могла пробраться. Кто считал ниже своего достоинства быть кучером, мог добровольно вступить в Легион СС. Когда же местное население привыкло к этому принудительному назначению на работу и кучеров оказалось достаточно, комиссию по определению на работу в немецкую армию как-то сами собой переосуществили в комиссию по призыву в Легион. Хотя и впредь повестки на врачебную комиссию по-прежнему рассылали не военные ведомства, а Управление трудом («Арбейтсамт» или «Арбейтсфервалтунг»), которое в народе слыло под названием «Белая Чека». Поначалу русских и поляков на эти новые призывные комиссии не вызывали, и надо сказать, русские такой дискриминацией возмущены не были. Но когда непобедимая германская армия стала терпеть все новые неудачи, немцы как бы забыли о неполноценности русских.

Но всенародного патриотического угара даже среди латышских народных масс как-то не чувствовалось, разве что на страницах латышских газет и журналов. Больше было разговоров, как избавиться от Легиона. Был официально дозволенный путь — приобретение УК («Unabkommeichkeits karte» «Карта незаменимости»). Поначалу ее получить, кажется, не было особых трудностей. Но вот когда вся власть, в том числе и призыв в Легион перешли в руки латышских генеральных директоров, приобретение УК ожесточили таким образом, что выдавать такую мог только сам генеральный директор. Подпись его заместителя считалась недействительной. Председатель призывной комиссии (теперь полковник



или капитан Легиона СС) на свою голову освобождал либо прославленных в Латвии людей, например, известного балетмейстера, либо полуевреев, либо неблагонадежных, только что освобожденных из тюрем бывших коммунистов или сочувствующих. Был еще и полуполигальный путь, которым к моему удивлению пользовались юноши. Они либо по своему социальному положению (близость к правящим кругам, вплоть до генеральных директоров) либо по своим культурным и национальным устремлениям (полунемцы, студенты германской филологии), становились на путь шкурников.

Путь этот заключался в назначении на работу в такие учреждения, из которых в армию молодых людей не призывали. Сколько юношей использовало этот путь — трудно установить, поскольку сам процесс проходил в глубокой тайне.

Как свидетельствуют латышские легионеры в своих воспоминаниях, от русских легионеров было мало толку и пользы. Прежде всего, многие из них не понимали латышского языка, и начальство вынуждено было переходить на ненавистный и презираемый русский язык. Вообще-то многие призванные русские разбежались уже на пути в места назначения. Во всяком случае, неизвестен ни один русский легионер, награжденный железным Крестом.

Из русских военнопленных формировались главным образом ряды Русской освободительной армии. О ней в России издано уже немало книг. История РОА в Латвии пока еще покрыта мраком неизвестности и забвения. Мне лишь однажды пришлось встретиться с человеком, близким к штабу РОА. И единственное, что он успел рассказать мне, — это о том, как из советских военнопленных формируются отряды РОА. В случае отказа, у нестеснительных половые органы стискиваются досками, пока они не согласятся вступить в ряды РОА.

*(«Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии. Беседа современника»)*

### **Холокост. Западноевропейские еврейки в Риге**

И еще одно событие, запечатлевшееся в моем сознании на всю жизнь. Один день мне пришлось провести в сообществе западноевропейских евреек, привезенных в Ригу для работы и конечного уничтожения. Это произошло на рижском элеваторе. Еще

задолго до оставления Риги гитлеровское командование решило очистить Рижский элеватор, увезти все продукты в Германию. Для погрузки требовались рабочие, которых должна была обеспечить рижская Биржа труда («Арbeitsamt», вернее, «Управление труда»). Так как это учреждение, в котором я начал работать, не смогло выполнить задание — собрать нужное количество рабочих, то приказано было в виде наказания отправить грузить материалы самих сотрудников этого учреждения. Я, как один из наиболее молодых сотрудников, также один день пробыл на этой работе. И здесь я встретился с германскими еврейками, привезенными на элеватор шить мешки для пшеницы и гороха, который предполагалось грузить на пароход. Надо сказать, что еврейки относились к своим трудовым обязанностям так же как и мобилизованные рабочие-латыши. И те и другие меньше всего думали о том, чтобы выйти в передовики производства. Еврейки, кстати, по своей внешности ничем не отличались от самых чистокровных немок.

То же можно было сказать и об их речи. Они занимались не столько шитьем мешков, сколько демонстрацией тех вещей, которые они захватили с собой для обмена на продукты с рабочими, с которыми судьба их свела. И то, что они предлагали для обмена, были не только золото и бриллианты. Были и более практические вещи, и не только из их прежнего имущества, но, кажется, и из той продукции, которую они или их сродники производили на других заводах и в мастерских Риги. Как они отчаиваются на такую опасную, по нашему мнению, деятельность? Оказалось, законы и установки гитлеровского командования были весьма странными. Применительно к работе на элеваторе, их можно было сформулировать так: стоило у кого-нибудь из работавших на элеваторе обнаружить хоть горстку пшеницы или гороху, как за этим следовал немедленный расстрел. Но если при проверке обнаруживалось, что еврейки выносили с элеватора масло, сало, мясо, сахар, — на это охрана внимания не обращала. То же, по словам наших собеседниц, происходило и на заводах, различных мастерских и предприятиях. Что могли вообще сказать о своем житье-бытье наши собеседницы? Кажется, они находились в каком-то шоковом состоянии, не понимали, что, собственно говоря, происходит на белом свете.

Они не плакали, не жаловались. Но их прискорбный вид говорил сам за себя.  
(«*Curriculum vitae*»)

#### 1944 — 1946 годы.

#### Окончание Второй мировой войны. Советская власть

В 1944 году, после восстановления Советской власти в Латвии, Б. Инфантьев вновь стал студентом отделения славистики, Освоив более 60 академических курсов, 3 июля 1946 года он с отличием завершил образование по славяно-русской филологии, получив квалификацию литературоведа. Это был первый выпуск отделения, которое окончило 2 человека: Борис Федорович Инфантьев и Мария Фоминична Семенова (1910—1988) — впоследствии доцент ЛГУ, исследователь латышско-русских языковых связей.

#### 50-е — 60-е годы. Защита диссертации и советские репрессии

##### Советские репрессии

За обучением в университете последовала аспирантура. Успешно сдав кандидатские экзамены, Б. Инфантьев приступает к работе над диссертацией «Связи латышских фольклористов с русской наукой». Первым руководителем диссертации был профессор Болеслав Ричардович Брежго, которого сменил «начальник» диссертанта, поэт Андрей Курций (Куршинский), заведующий сектором латышско-русских фольклорных связей Института фольклора Академии наук, младшим научным сотрудником которого Б. Инфантьев стал 1 июля 1946 года. Работа способствовала написанию диссертации, обеспечивая исследователю возможность собирать материалы в архивах и библиотеках Москвы, Ленинграда, Вильнюса, публиковать научные статьи, участвовать в фольклорных экспедициях. В 1951 году диссертация была завершена, опубликован автореферат и объявлено о предстоящей защите...

Однако судьба в лице «компетентных» органов изменила планы и род занятий Бориса Инфантьева. Как вспоминает ученый, «находясь в фольклорной экспедиции в Акнисте», он получил адресованную «Инфанцебулу» (то есть ему) телеграмму с предложением срочно вернуться в Ригу. Аспирант филологии попал в поле зрения нового проректора по научной работе ЛГУ Альфреда Сталгевича, который был прислан в Латвию с целью обеспечить преданность научных кадров Советскому ре-

жиму. Б. Инфантьев был обвинён в отсутствии желания вступить в партию, в том, что он учился в «фашистском учебном заведении» и т.д. Несмотря на то, что день защиты диссертации уже был назначен и были получены положительные отзывы, не было сомнений, что присвоить ученую степень такому человеку невозможно.

По предложению заместителя директора Института фольклора, писателя и фольклориста Яниса Ниедре защита диссертации была отложена, так как «оказалось, что Борис Инфантьев — буржуазный националист и антисоветский элемент». Такой формулировки было вполне достаточно, чтобы разоблаченный ученый был изгнан из Института фольклора и ЛГУ, где он читал лекции по фольклору и древнерусской литературе. Б. Инфантьев был также лишен возможности публиковать результаты своих исследований. Дошло до абсурда. Так, научная статья Бориса Инфантьева «Достижения фольклористов Советской Латвии за 10 лет» была включена в список обязательной литературы по фольклористике без упоминания имени автора. «Чуждый Советской власти человек» не мог найти работу в научном или учебном заведении.

Только благодаря стараниям известного переводчика античной литературы Абрама Фельдхуна Б. Инфантьев как внештатный сотрудник смог участвовать в составлении русско-латышского словаря (1952—1954). Эта работа обеспечила возможность выживания не только материально и морально, но и стала основой интересов ученого в сфере сравнительного языкознания.

#### («*Иван Янис Михайлов. Борис Федорович Инфантьев. Краткая биография*»)

Буря над Инфантьевым разразилась в 1952 году, когда в Ригу приехал Сталгевич — герой процессов 1937 года в Москве. Он повздорил с Вышинским, и его «сослали» в Ригу проректором ЛГУ.

— Я тогда уже читал курс лекций в университете, был научным сотрудником Академии наук. В академии я проходил под ярлыком «буржуазный националист», там вообще со мной кокетничали. Чтоб я нигде не печатался и не выступал, тогда, мол, Арвид Пельше про меня забудет. Из университета убрали моментально — несмотря на то, что я руководил заочным отделением от кафедры. Заведующая побежала к декану Никишкину: «Оставьте

хотя бы на один день!» — «Что, вы будете просить за этого фашиста?» У Инфантьева было много друзей в различных отраслях гуманитарных наук. Ректор Медицинского института Буртниекс жал ему руку. Но когда молодой ученый принес туда свою трудовую книжку, делопроизводитель сказала: «Забирайте свои бумаги — вы же знаете, что вас нигде и никто не возьмет».

Нигде «бывшего в оккупации» и не брали — и только филолог Фейдглан не побоялся пристроить Инфантьева вне штата составлять русско-латышский словарь. Так он и существовал — до хрущевской «оттепели». Всесильный Сталгевич, встретив на улице опального Инфантьева, взяв его за пуговицу, так объяснил ему политику партии:

— В 1940-м вы же были сравнительно прогрессивный студент. У вас же было столько возможностей — вы могли эвакуироваться, уйти в партизаны, в подполье. Ни один из этих шансов вы не использовали. Больше того! Вы сочли возможным учиться в фашистском университете! Но даже это не так страшно. Если бы вы сделали хоть какую-то попытку поступить в комсомол или партию, тогда нам было бы ясно, что вы — наш человек.

— Но у меня же репутация подмоченная, — просто сказал Борис. — Я не хотел, чтобы подумали, будто я хочу пробраться в ряды!

— Хе-хе, какой наивный человек. Неужели вы думаете, что даже если бы мы вас куда-нибудь приняли, мы бы вас не выслеживали? Я же от вас требую только горячего желания и стремления! А вы... Вот придут американцы, и вы опять шубу навыворот.

*(Николай Кабанов — «7 секретов», № 14)*

### Снова Штейн и Пудник.

#### Поездка в Потсдам

Телефонный звонок, раздавшийся ранним субботним утром, еще не предвещал тех поворотов довольно однообразной и спокойной жизни, связанных преимущественно с интеллектуальными упражнениями, собиранием словесных свидетельств бурно протекаемой мимо жизни. Приятный мужской голос пригласил меня встретиться «по особенно важному делу»... в соседней подворотне. Несколько заинтригованный, но отнюдь не пораженный (с кем только не приходилось мне встречаться в те годы!), я тотчас отправился. Небольшого роста хорошо одетый человек представился

следователем КГБ по особо важным делам и рассказал, что он и сегодня, в субботний день, должен быть на работе: приехали коллеги из ГДР и просили свести их с человеком, который мог бы во всех подробностях им рассказать о том, какова была жизнь во времена гитлеровской оккупации.

В мои принципы входило — никогда никому ни в чем не отказывать (в правомерности этих принципов меня убедила сложная реальность прошлого военного времени). Я отправился с моим новым знакомым в злое здание на углу улиц Энгельса и Ленина, которое было «притчей во языцех» у всех.

На пятом этаже в отдельной комнате меня просили немного подождать в одиночестве, но скоро пригласили в зал на том же этаже.

За столом сидели, кроме моего знакомого, два немца, переводчик (тоже немец), стенографистка. Через несколько минут в помещение вошел видный и статный молодой человек, при появлении которого все встали, из чего я сделал вывод, что это сам начальник КГБ Авдюкевич. Мне были предложены уже названные вопросы и я, чтобы быть оригинальным, начал так:

— 1-го июня в 10 часов утра зазвонили все церковные колокола города Риги и жители города, женщины в национальных костюмах, с развернутыми красно-бело-красными флагами вышли приветствовать своих освободителей от большевистского режима. В витринах магазинов тут же появились вырезанные из книг и журналов портреты Улманиса и Балодиса. Поговаривали, что национал-патриоты организуются, надевают форму военнослужащих и айзсаргов и с винтовками ходят по Риге, арестовывая евреев и коммунистов. Рассказывали, что не обходилось и без недоразумений. Так, «освободители» изнасиловали и убили дочь известного Рижского табачного фабриканта Майкапара, а когда выяснилось, что она не еврейка, а караимка, немецкий офицер какого-то крупного ранга с роскошным букетом белых роз приехал к жене Майкапара извиняться. На рынке...

Но тут меня перебили:

— В какую форму были одеты те, которые «наводили порядок»?

— В форму военнослужащих Латвийской армии, айзсаргов, один мой знакомый даже в мазпулковскую форму.

— А разве никаких других отличительных знаков у них не было?



— Да! — спохватился я — красно-бело-красные ленты — повязки на руках!

— Что вы несете! Вмешался в наш разговор Авдюкевич. Ведь такие повязки были только в самые первые дни. Скоро они были заменены зелеными нарукавниками.

— Не только это. Немецкое командование распорядилось убрать из витрин магазинов портреты вождей, красно-бело-красные флаги запрятать подальше.

Такой поворот беседы заставил меня подумывать: не хотят ли мне «пришить» какое-либо участие в формировании легиона? Но ведь это было позднее, успокоился я.

Передо мной положили список студентов филологического факультета (более 300, если не больше) и велели точно назвать, кого я знал, с кем общался и в какой степени в 1940/1941 году, с кем поддерживал контакты впоследствии. Процедура эта заняла много времени, пока я не исчислил всех своих знакомых и друзей этих лет. Но на слушателей особого впечатления не оставило ни имя Роберта Осиса, впоследствии командира 15-й дивизии Легиона, ни имена Андрея Йогансона и Велты Сникере, Альфонса Вильсона и Виктора Ванага. После того, как я назвал самых близких моих товарищей по университету, студентов славянского отделения Людмилу Лялину, Бородовскую и двух выпускников Аглонской католической гимназии Штейна и Пудника, оказалось, что я, наконец, достиг цели.

— Какова судьба Штейна и Пудника?

— Они поступили в полицейские, затем были переведены в Легион СС и погибли на фронте.

На меня посыпался целый ураган вопросов: где они жили в 1941 году? Бывал ли я у них на квартире? Где эта квартира находилась и какие признаки еврейского быта и религии в ней были? О чем мы разговаривали, когда я их посещал? Когда я их видел в последний раз?

Если на некоторые вопросы я мог ответить довольно вразумительно, например, о том, что в отличие от большинства студентов-филологов, оба моих друга довольно глубоко входили в проблематику не только нашего основного предмета — славистики, но и такого предмета, который большинство студентов изучало, сжав зубы — диалектического и исторического материализма. Меня донимали различными каверзными вопросами, требующими углубления в предмет, и немало радовались, что и я оказывался способным отвечать на самые

каверзные вопросы.

Хуже обстояло дело с моими ответами на такие вопросы чекистов, где находилась их еврейская квартира. А на вопрос о последней нашей встрече я ответил:

— В большом университетском здании на концерте Эльфриды Пакуле. Тут Авдюкевич снова не выдержал:

— Что вы мелете: ведь Пакуле была в эвакуации.

Оказалось, что концерт был дирижера Бобковица. Наконец мне была показана фотография с просьбой указать, нет ли на ней Штейна.

На фотографии была группа немецких «буржуев», и я только недоуменно покачал головой.

— Конечно, с тех пор много воды утекло. Но попробуйте угадать, кто из изображенных на фотографии мог быть Штейном.

Я указал на одного. Это был, действительно, Штейн.

Наше собеседование завершилось в 6 часов вечера: все мои фразы переводились на немецкий язык, стенографировались.

Казалось, что на этом мое сотрудничество с КГБ завершилось. Не тут то было. Примерно через полгода Штейна привозили для опознания в Ригу, и мне пришлось принимать участие в этом не совсем приятном мероприятии. Но на этот раз мои функции ограничились только кивком головы. Никакого собеседования со Штейном не получилось. Но и на этом моя Штейнаниана не завершилась.

Прошло еще полгода, и новый телефонный звонок принес мне сообщение о том, что немецкие чекисты приглашают меня в Потсдам на судебный процесс Штейна — как адъютанта самого Арайса! Тут же телефонный информатор продолжает:

— Мы особенно не настаиваем на необходимости вашей поездки в Германию. Но немцы — народ пунктуальный, и в случае отказа потребуют документальное подтверждение причин отказа. У вас там были проблемы с сердцем — вы часто посещали поликлинику. Принесите справку, что вам поездка противопоказана.

Однако получение такой справки оказалось делом весьма сложным. После целого ряда анекдотических эпизодов меня, наконец, направили в больницу на исследование. По мнению моего чекистского ментора, такого документа было вполне достаточно для удов-

летворения немецкой дотошности, и я уже собрался предаться всем летним наслаждениям, когда очередной стук в дверь и грозный окрик сотрудника ОВИРа приказал мне срочно явиться в это учреждение для получения заграничного паспорта. Мой чекистский полковник оказался в отпуске, а кроме него никто об этом деле ничего не хотел знать.

Пришлось скрепя сердце отправиться в ОВИР и на предпоездковий совещание-инструктаж в Республиканскую прокуратуру, где я познакомился со своими будущими коллегами, с которыми я на протяжении, по меньшей мере, трех недель должен буду коротать весьма неприятные минуты трагического процесса моего давнишнего если не друга, то, по крайней мере, коммилтона. Довольно представительное сообщество, которое предполагалось послать в Потсдам, представляло собой «шесть пар чистых» и «шесть пар нечистых». К первым можно было причислить, во-первых, небольшого роста, довольно корпулентного, похожего на виновника всей этой истории, его брата, по фамилии то же Штейна, колхозника из Аглонской округи, судя по всему, человека тихого и недалекого. Вторым был брат Пудника, полная противоположность брату Штейна — высокий, статный, разговорчивый, общительный. Далее — я как однокуртник подсудимого и восьмидесятилетний старичок из Латгалии, брат бывшего парторга университета, расстрелянного в 1941 году. Согласился он ехать только после того, как ему сказали: если он поедет, то увидит того человека, который застрелил в 1941 году его брата.

Компанию «чистых» завершали благообразного вида небольшого роста пожилой еврей — ювелир, который работал на немцев и таким образом спасся, и средних лет дама, доцент Латвийского университета (кажется, биолог), которая была недостреляна в Бикерниекском лесу, выползла из кучи мертвецов и каким-то чудесным образом спаслась.

Шесть пар «нечистых» — это были арайсовские парни «второго сорта»: шофер, бухгалтер, кассир. Только один из них, Янсон, был более активным «сотрудником». Выпускник самой привилегированной школы в Риге — Французского лицея, студент Сорбоннского университета, он во время летних каникул 1941 года взял винтовку и стал ловить евреев и коммунистов. Все они отбыли свой срок (в среднем по 10 лет) и вернулись на родину. Янсон рассказывал, что самое страшное во всем

его деле — это была транспортировка в Сибирь: в поезде он был прикован к чекисту и целыми сутками не мог отправиться в туалетную комнату. Комплект «нечистых» был еще не полным: в Москве к нам должны были присоединиться еще двое «активных» арайсцев, которые, отбыв свои сроки, не пожелали вернуться в Латвию, а уехали на Украину. То ли на украинках женились (уже в Сибири), то ли имели на то более веские причины. Неспроста нам рассказывал брат Пудника: волостной их старшина благополучно прошел тюрьму и Сибирь, а вернувшись домой, в ту же ночь после празднования возвращения был убит.

Инструктаж ничем примечателен не был, за исключением того, что зампрокурора (мой бывший ученик по вечерней школе в 1946 году) не только меня не узнал, но вручил мне командировочное предписание (для места работы), адресованное арайскому шоферу, вконец спившемуся старичку, который для обмена валюты принес всего лишь 3 рубля.

Ехали мы обычным московским поездом. Необычным было только то, что за наши рубли даже чаю в поезде получить нельзя было. Я ехал в одном купе с латгальцем-старичком. Он вез с собой целую палку колбасы. Я бегал за хлебом (это в буфетах достать можно было). И так впроголодь доехали мы до Москвы. Там на автобусах отвезли нас в гостиницы на сельскохозяйственной выставке, велели не отлучаться и ждать московских чекистов с командировочными. Просидев целый следующий день в гостинице в ожидании командировочных, мы, наконец, узнали от прибывшей чекистской женщины, что нам никаких командировочных не будет, так как все истрачено на гостиницы и транспортировку.

— Зачем же нам велели всем сидеть в гостинице и ждать командировочных? — возмутились мы.

— А это затем, чтоб не разбредались. У нас уже есть опыт с такими, как вы: шляетесь, напиваетесь. Ищи вас потом и собирай по канavam.

В Московско-Берлинском поезде было отнюдь не отраднее. И там чай ни за какие рубли получить нельзя было. Я держался своего старичка с колбасой, бегал для него за хлебом. И так мы, наконец, голодные и холодные рано утром добрались до Берлина. Тут же нас посадили в автобус и отвезли в курортный дом отдыха в Альт Теплиц под Потсдамом.

Отдыхающие с курорта были выдворены,

остался только весьма внушительный обслуживающий персонал.

Сразу из автобуса мы, изголодавшиеся, попали к столу. Боже мой, чего на этом столе не было! Колбаса трех сортов, сливы, яблоки, груши. А главное, бананы! Как члену редколлегии одного московского научного журнала, мне ежемесячно приходилось ездить в Москву. Я, естественно, привозил оттуда масло, колбасу, даже черную икру (правда яиц я не возил, и всегда в аэропорту с сожалением взирал на путешественников, которые тащили из Москвы целые коробки яиц!).

Свободное от заседаний время я посвящал по заданию дочери выстаиванию жутких очередей в новооткрытых польских, немецких магазинах, но выстоять банановую очередь в Москве мне так ни разу и не удалось. А тут: ешь — не хочу. Впоследствии мне удалось выяснить, что бананы в казенных магазинах продавались по 1,5 марки за килограмм, а в частных за 1 марку. «Бананы быстро портятся», — поясняла мне хозяйка магазина. В казенных магазинах их списывают, а я сама должна терпеть убыток!

За столом рассадили нас по «качеству»: чистых за один, «нечистых» за другой стол, а промежуточный стол заняли чекисты и обслуживающий персонал. Ели мы, как изголодавшиеся индейцы: и я с удивлением смотрел, как мой друг, благообразный латгалец пожирает «татарский» бутерброд: на хлебе сырое мясо с сырым яйцом. Меня слегка стошнило от такого деликатеса. К кофе нам принесли 40 грамм шнапса. Я взял шефство над арайским шофером (дабы он вконец не размяк) и выпил также его порцию. Господин Янсон попросил коньяку, который тут же был ему принесен. Когда он за такой индивидуальный заказ сверх положенного хотел расплатиться, кельнер отрицательно кивал головой: «Аллес умзонст!» (Все бесплатно!). Это «Аллес умзонст!» преследало нас все три недели пребывания в Германии. И когда нам на Берлинской телевизионной вышке вручали открытки с видом этой башни и уже наклеенными марками, и за буклеты и книжки, которые тому или иному приходило в голову приобрести сверх положенного, не говоря уже о входных билетах, оплаты за проезд (например, во время катания на пароходу по Цецилиенгофскому озеру).

Наша «работа», ради которой мы приехали в Потсдам, заключалась в следующем. После обильного завтрака всех нас привозили

в Потсдам (завозили с черного хода!), и судья называл тех свидетелей, которых будут допрашивать в назначенный день. Остальных сажали обратно в автобус и всячески развлекали. Сначала всех свободных от допроса свидетелей возили по «русским» магазинам. Это магазины, главным образом одежды, находились преимущественно в приграничных зонах, где расположены советские войска. Продавщицы в этих магазинах — жены военнослужащих, а продается все то, что не годится для привередливых немцев. Я сам привез дочке подарок — маленькую куколку-обезьянку с двумя правыми ногами. Когда приграничные «русские» магазины были прочесаны, нас стали возить по столичным, привилегированным, причем впускали с черного хода, сразу к «специфическому дефициту». Следует отметить, что перед этим нам выплатили огромные командировочные и объявили, что дана команда на границу нас при выезде не контролировать. Начался целый разгул покупок. Чуть ли не все обзавелись дубленками, западногерманской обувью, которая продавалась и в Потсдаме. Мой старичок купил себе какие-то семена. Украинские арайцы набросились на посуду.

Затем следовала культурно просветительная часть нашего пребывания в Потсдаме. Сначала нас свозили в Берлин, показали Бранденбургские ворота, восстанавливаемый лютеранский собор, оставивший на меня весьма незначительное впечатление, на телевизионную башню. День был пасмурный и никакого восторга, по крайней мере, во мне эта экскурсия не оставила. Куда интереснее была поездка в Цецилиенгоф, где мы с уважением смотрели на кресло, в котором сидел Сталин. Но куда большее впечатление оставила на нас поездка по Цецилиенгофскому озеру. Все мы были посажены за столики, каждому предложили кофе и постоянные 40 граммов.

Последняя большая экскурсия была предложена по выбору: либо в Дрезден, либо в Лейпциг. В разговор и здесь активно вмешался Янсон и объявил, что в Лейпциге похоронены его родители, которые успели спастись, бежав от советской власти. Он, конечно, предпочитал бы поездку в Лейпциг, авось смог бы отыскать могилу своих родителей. Так как всем остальным было безразлично, куда ехать, то никто не возражал против поездки в Лейпциг.

Поскольку родители Янсона были православные, решили осведомиться, прежде всего, у православного священника. И наш автобус



остановился у шикарной православной церкви, построенной для русских солдат-певчих, подаренных в свое время российским императором германскому. Нас любезно принял молодой попик, только что окончивший Духовную Академию, и рассказал, что он окармливает главным образом проживающих в Лейпциге греков: русские в церковь не ходят. Могила Янсонов он хорошо знал и, вооружившись роскошным букетом (тоже умзонст), мы отправились на могилу Янсонов. Впоследствии их сын говорил, что на сибирских лесоповалах ему даже во сне не могло присниться, что чекисты повезут его на автобусе на могилу родителей.

В Лейпциге, разумеется, было что посмотреть. И памятник сражению народов (мне показалось, что на такую безвкусицу способны только немцы). И могила Баха. Обедали в погребке, где Мефистофель впервые показался Фаусту. Здесь после обеда, когда нас спросили, не желаем ли мы еще чего-нибудь: все единогласно ответили: еще 40 граммов, что тут же нам было предложено.

Что же происходило на процессе? У меня создалось такое впечатление, что ходом процесса все интересовались меньше всего. По крайней мере, никаких разговоров, никаких дискуссий по этому поводу не возникало. Или арайсовцы чуждались людей со стороны? Говорили только, что наших евреев постоянно приглашают на пресс-конференции, что весь процесс покрыт какой-то рамкой таинственности: ни в одной газете о нем не появляется ни слова. Новые германские родственники с нами (то есть, с их братом) встретиться наотрез отказались.

О допросах свидетелей говорили, что они проходят очень туго: Штейн очень интенсивно сопротивляется, опровергает все то, что про него свидетели показывают. Единственный раз, когда он согласился со всеми показаниями свидетеля, это было мое выступление. Еще бы! Я рассказал, как Штейн защищал меня сразу же после начала оккупации, доказывая моему второму «другу» Роберту Осису, что я не был сочувствующим; что в наших разговорах не было никогда и речи о расстрелах евреев, что он скорее с сожалением, чем с насмешкой говорил о бывших наших коллегах-студентах среди конвоируемых. Штейна мое выступление вполне устраивало, зато я получил нахлобучку за свою речь-защиту, которая

не всегда точно совпадала с тем, что я говорил на предварительных следствиях. Но я к тому дню успел уже простудиться, у меня была температура, и на чекистский выговор я никак не реагировал.

По истечении трех недель нам объявили, что допрос свидетелей завершен и нас скоро отправят восвояси. Но перед тем было решено организовать прощальный вечер с участием какого-то высокого военного советского чина. Из обстоятельной и эмоциональной речи полковника мы узнали, какой патриотический подвиг совершил каждый из нас. Мы же, «чистые», после такой патриотической речи договорились, что от нашего коллектива выступит еврей-ювелир, к которому мы прониклись подлинным чувством уважения и в шутку называли «нашим бригадиром». Но как только свою речь кончил полковник, вскочил один из «нечистых» — украинский арайсовец, и такую патриотическую речь отгрохал, что мы аж рты разинули от удивления. Наградам нашим не было конца и краю. Ко всему прочему, каждый на прощание получил целый килограмм жвачек, ценность которых заключалась опять-таки в ее западногерманском происхождении, в марке «Микки Маус». Нас пригласили на другой процесс, который проходил одновременно по ту сторону «железного занавеса» в Гамбурге. Там одновременно судили самого Арайса. Передавая это приглашение, наши чекисты, однако предупредили, что не гарантируют нашу целостность и неприкосновенность. Разумеется, никто из нас на Гамбургский процесс поехать не захотел.

Только в поезде мы узнали о результатах нашего процесса. Так как Штейну не удалось пришить личное участие в убийстве евреев, его приговорили всего лишь к пожизненному заключению. К такому же наказанию оказался приговоренным и сам Арайс, поскольку в Западной Германии смертная казнь уже была отменена. По этому поводу один из украинских арайсовцев съезвил: «Ну, шеф с адъютантом могут опять встретиться». Арайс, правда, скоропостижно скончался, о судьбе Штейна никакой информации я больше не получал. Нет больше КГБ, не у кого получить исчерпывающую информацию. Даже из мешков!

Сик транзит gloria мунди!  
(«Три недели с парнями Арайса»)

**Институт фольклора в Риге**

В 1945 году на базе Хранилища латышско-

го фольклора был организован целый Институт фольклора, который в 1946 году получил статус академического, войдя в состав только что организованной Академии наук Латвийской ССР.

Во главе института оказался старый большевик, имя которого (правда, в критическом плане) упоминается в трудах самого Ленина — Роберт Андреевич Пельше, некогда известный деятель советской цензуры и проч., которому удалось пережить латышскую операцию НКВД 1937—1938 годов. Рядом с ним — этнограф и писатель Янис Ниедре, хотя и исключенный в годы Великой войны из партии, но все же пользовавшийся доверием лично товарища Калнберзиня, председателя Верховного Совета ЛССР.

Новую советскую эру те латвийские фольклористы, которые волею судеб оказались среди работников идеологического фронта Советской Латвии, встретили с некоторою настороженностью: «Что день грядущий нам готовит?» Новое руководство с места в карьер поставило перед коллективом Института новые, в 1940—1941 годах еще неведомые Латвии задачи — собирание и исследование латышского советского фольклора, что в старых братских республиках уже было основной и почетной задачей фольклористов.

Используя опыт братских республик, ведущий сектором сбора и систематизации фольклора профессор Петр Биркерт разработал соответствующие инструкции и вопросы. И работа началась в самых различных направлениях. В архивах были подняты сохранившиеся тетради бывших политзаключенных, куда те записывали как революционные, так и советские массовые песни, проникавшие и в подполье, и в тюрьмы; во время ежегодных фольклорных экспедиций стали записываться безобидные анекдоты-побывальщины, в которых критиковались различные мелкие бытовые неурядицы. Из колхозных и фабричных стенгазет выписывались песни Лиго, в которых прославлялись передовики производства и высмеивались отстающие. Сам П. Биркерт систематически выуживал из газет различные лозунги и заголовки, представляя их как советские пословицы и поговорки. Основное внимание уделялось латышскому фольклору, поскольку считалось, что русский уже хорошо известен по многочисленным публикациям в газетах, журналах, специальных сборниках и школьных учебниках.

Но всего этого было далеко не достаточно: ведь фольклор, народное творчество должно было отражать любовь латышского народа к родной коммунистической Партии и, что особенно важно, — к вождям прогрессивного человечества — Ленину и Сталину.

Но латышский народ сам до осознания этой истины не доходил. И по принципу социалистического реализма — выдавать вожделенное за существующее (в надежде, что со временем желаемое станет реальным) — надо было народу указать пути к реализации насущнейших задач, в том числе и в области фольклористики. А делать это оказалось совсем не сложно, поскольку среди знатоков латышского классического фольклора оказалось немало старушек, которые были совсем не прочь поблистать на организуемых ежегодно заключительных концертах с демонстрацией отысканных новинок в этой области. И стоило только участнику экспедиции надоумить старушку, от которой песни записывались, заменить в общеизвестной и популярной песне «бобыля» на «колхозника», как догадливая старушка уже сама начинала изображать в последующем песенном тексте то, что от нее требовалось. Так, к примеру, после проведенной операции с заменой «бобыля» — «колхозником» Либа Хензеле из Бауской округи на Сигулдском концерте пела:

*(Радовались колхозники / ржи урожаю богато-  
му. / Кто усердным был — / У тех было трудо-  
дней много, / Тот полные мешки получил. /  
Кто ленивым работником был, / У тех было  
мало трудодней, / По килограмму получили).*  
*(Хранилище латышского фольклора  
(ХФ). 1860, 2861)*

Пример заразителен. И в некоторых колхозах, в особенности преуспевающих, оказалось немало энтузиастов пущенного исследователями в жизнь фольклорного творчества. Одним из таких центров стал хорошо известный передовой колхоз «Лачплесис», старушки которого чуть ли не каждое воскресенье после богослужения в Лиелвардской церкви собирались там же в церковном саду и сочиняли для фольклористов четверостишия на актуальные политические темы. Правда, не всегда их «продукция» оказывалась пригодной. Среди записей советского фольклора можно было обнаружить и такие четверостишия:

*(На выборы пенсьонеры ехали / В упряжках  
колхозников. / Всю дорогу громко кричали: /  
Честь и слава Сталину).*

Во время фольклорных экспедиции в Вентспилсский округ автору этих строк удалось записать рассказ о детстве маленького Сосо (Джугашвили), который Угальская воспитательница детского сада рассказывала своим воспитанникам. И хотя это произведение было явно сочинено самой воспитательницей, ничто, разумеется, не препятствовало зачислить его в нашу коллекцию советского фольклора.

В 1990 году хранитель фондов Хранилища латышского фольклора М. Виксна опубликовала статью, в которой по давней стенгазете Института фольклора цитируется мой восторг по поводу того, что фольклористы Латвии встречают 70-летие Сталина во всеоружии: как много собрано записей латышских песен о Ленине и Сталине. Это радостное известие я (в ту пору — научный секретарь Института) повторил и спецкору Латвийского телеграфного агентства товарищу Берёзскому, одновременно рассказав ему о двух миллионах фольклорных единиц, хранящихся в фондах архива.

Каково же было приятное удивление фольклористов Латвии, когда буквально на следующий день «Правда» опубликовала сенсационную информацию: «В архиве Латвийского Института фольклора хранится 2 миллиона песен о Ленине и Сталине».

Но латышский советский фольклор оказался востребованным и в самой Латвии. Стоило только фольклористам записать свежий текст четверостишия «Mūsu tauta — miera tauta» (Наш народ — народ мира), как ветеран латышской фольклористики композитор Эмилс Мелнгайлис подобрал к тексту мелодию, и песня зазвучала повсюду, была даже включена в репертуар очередного Праздника песни.

В Москве, во Всесоюзном Доме народного творчества, в порядке обмена опытом мне удалось узнать и о других источниках советского фольклора, прочно вошедшего в практику братских республик — совместном создании советских песен и танцев коллективами художественной самодеятельности. Латвийский Дом народного творчества, разумеется, не оставил передовой этот опыт втуне, привлек в консультанты соответствующих специалистов, например: поэтессу Мирдзу Кемпе, композитора Екаба Мединьша, хореографа Хария Суну.

К 1950 году материалов набралось уже до-

статочное количество, и можно было начать систематизацию и подготовку к публикации сборника латышского советского фольклора. Ни об издании русского советского фольклора, ни об исследовании проблем русско-латышских фольклорных связей, ни об изучении таких проблем, как соответствие публикуемого и популяризируемого материала традиционному понятию фольклора как подлинного отражения «чаяний и ожиданий народа» — обо всем этом речь не заходила. Обращение к названным выше проблемам потребовало бы и большего количества времени, надо полагать, что руководство института не было окончательно уверено в положительных результатах подобных исследований. Что же касается издания сборника, то ускорение реализации этой идеи стимулировало несколько факторов. Во-первых, первому секретарю ЦК партии Латвии Арвиду Пельше необходимо было подтвердить целесообразность существования в Латвии отдельно функционирующего Института фольклора, хотя в старших братских республиках таких самостоятельных институтов не было. Во-вторых, среди влиятельных кругов русскоязычной номенклатуры упорно господствовала убежденность в том, что гуманитарные институты Академии Наук — рассадник буржуазного национализма. Когда сосланный из Ленинграда в Ригу профессор Яковлев захотел написать рецензию на первый сборник трудов Института, в редакции «Советской Латвии» его предупредили: «Учите, там же все — буржуазные националисты!». И Яковлев от своего намерения отказался.

Для сборника материалы отбирались самым тщательным образом. Негласным цензором явился сам Арвид Пельше. Вышел сборник «Latviešu padomju folkloras izlase» в 1950 году. Как ни странно, восторгов не последовало. Более того, не помню ни одной рецензии на него.

В 1951 году в Риге состоялась всесоюзная конференция, на которой, в традициях фольклористики, рассматривались и вопросы латышского советского фольклора. Алма Анцелане представила обстоятельный обзор собранного материала колхозной тематики — только процитировано было свыше 50 латышских народных песен разных размеров, преимущественно четверостиший, десятки пословиц и рассказов. Я читал доклад, в котором содержалась попытка осветить проблемные вопросы вариативности как основной



черты фольклора (в связи с отсутствием этой вариативности в большинстве так называемых фольклорных материалов).

В 1953 году произошло два судьбоносных события: умер Сталин — объект фольклорных пристрастий, а я — популяризатор и горячий проповедник собирания и изучения латышского советского фольклора — был отрешен от идеологического фронта как «буржуазный националист». Еще раньше наш директор института Роберт Пельше погиб при встрече с троллейбусом, на него упала троллейбусная штанга; Я. Ниедре в связи с реорганизацией института также оказался вне научного оборота.

Собирание и изучение латышского советского фольклора исчезло, как будто и не бывало никогда. В 1960 году сотрудник института Эльза Кокаре (кстати, долгое время единственный член партии в Институте) в своей статье «Развитие фольклористики в Советской Латвии» (*Советская этнография*. 1960, № 3, с. 152–158) даже не упомянула о свершениях латвийских фольклористов в области собирания и изучения советского латышского фольклора.

#### 60–70-е годы

Когда мне в 60–70-е гг. приходилось бывать в Москве и общаться с научными сотрудниками, педагогами, изучавшими проблемы преподавания русского языка и литературы в национальных (то есть нерусских) школах, моим высокопоставленным по научному рангу коллегам и собеседникам очень нравилось мое отчество, записанное и в паспорте, и в документах об образовании — «Теодорович». Это отчество они всегда произносили с особым ударным акцентом, — и не в шутку, а совершенно серьезно.

Каким же образом я стал Теодоровичем? В латвийском паспорте и в свидетельстве о рождении мой отец записан по-латышски — «Teodors» (Федор). В 1945 году в советском паспорте это латышское наименование воспроизводилось транскрибированно — «Теодорович». Из паспорта это наименование перешло в университетский диплом, а вслед за ним и во все другие дипломы и документы. Поскольку я этому факту не придавал никакого значения, то и по сей день живу с документами с таким же отчеством.

Присказка эта весьма символична: она свидетельствует о моей двойной русско-ла-

тышской природе («хамелеонской»?), о стечении таких обстоятельств, которые и породили мою национальную сущность.

(«*Через тернии к звездам*»)

#### 70-е – 80-е годы

*1 февраля 1974 года Б. Инфантьев был избран заведующим сектором Русского и иностранных языков НИИ педагогики. Но как вспоминают коллеги, он «был добродушным, нетребовательным и «несерьезным» начальником, который львиную долю работы выполнял сам. Он не знал зависти и неблагожелательности, всегда радовался успехам коллег». Наряду с работой в институте ученый в 60–80 годы XX века читал на филологическом факультете ЛГУ лекции по методике преподавания русского языка и литературы и русско-латышским литературным связям, руководил педагогической практикой, являлся председателем государственной экзаменационной комиссии в Даугавпилсском педагогическом институте и на филологическом и педагогическом факультетах ЛГУ.*

#### Александр Германович Лосев

Если посмотреть библиографический справочник Бориса Инфантьева, то в глаза бросается следующая особенность: на протяжении 1963–1999 гг. большая часть литературоведческих и краеведческих публикаций помечены авторством Бориса Инфантьева и Александра Лосева. В некоторых случаях имя Лосева оказывается на первом месте. Эта особенность неоднократно вызывала интерес наших читателей и в Риге, и в Москве, и в Вильнюсе: что означает такое своеобразное, такое постоянное авторство и как практически оно осуществляется. Не вдаваясь в изложение практической формы этой деятельности — она носила довольно многообразный характер, остановимся на сути моих с А. Г. Лосевым многолетних и постоянных контактов.

...Они сошлись: вода и пламень, стихи и проза.

Кажется, нет более точной характеристики для основы тесного творческого сотрудничества Инфантьева и Лосева.

Вода и проза — это я, в недавнем прошлом — этнограф, фольклорист, лексикограф, историк-исследователь статуса русского языка в Остзейском крае с XIII столетия и методики преподавания русского языка преимущественно в латышских и немецких школах.

Лосев, в прошлом — выпускник московской театральной студии Михоэлса, был на-

правлен в Ригу руководить ансамблем художественной самодеятельности. Когда он приехал в Ригу, оказалось, что еврейский ансамбль уже как космополитический ликвидирован и его руководителю, замечательному знатоку русской современной поэзии, ничего другого не оставалось, как поступить на филологический факультет Латвийского университета. Университет он блестяще окончил, получив за свою дипломную работу о Багрицком самую высокую похвалу довольно строгого ценителя — М.П. Николаева.

Когда волею судьбы мне привелось стать исследователем в области педагогики и методики преподавания русского языка в латышских школах, я с горечью вспомнил о своем печальном двукратном полуторагодичном педагогическом опыте, из которого я вынес четкие представления о том, как не надо преподавать ни в русских вечерних, ни в латышских семилетних школах. Поэтому я поставил перед собой цель — хорошо ознакомиться с подлинно передовым опытом латвийских учителей, разослав наиболее прославившимся предложением о сотрудничестве. Как потом мне говорил мой напарник, письмо мое он все время хранил как святую реликвию.

В 50-е годы в Латвии было немало учителей, которые хорошо справлялись со своими задачами, несмотря на совершенно абсурдные, присланные из Москвы программы и не менее абсурдные учебники, созданные по интуиции без какого-либо учета хотя бы основных принципов особенности преподавания русского языка и литературы в латышских школах. Но Лосев существенно отличался от всех тем, что в условиях вечерней школы, где, как предполагалось, учеников волнует только один вопрос — как бы поскорее и безболезненней получить диплом, он смог добиться такого положения, что его воспитанники-вечерники готовы были на сложную внеклассную кружковую деятельность — как для углубленного освоения поэзии, так и для приобретения навыков художественной самодеятельности, в том числе и в области театрального искусства, которое Лосев постиг в школе Михоэлса. Впоследствии этот опыт Лосевым был обобщен, защищен как кандидатская диссертация и издан на латышском языке отдельной книгой — «Эстетическое воспитание в вечерней школе» (*Estētiskā audzināšana vakarskolā. R., 1981. g.*).

Появление Лосева в стенах Научно-исследовательского Института педагогики Минис-

терства просвещения Латвии как-то совпало с другим новшеством в деле преподавания в латышских школах русского языка и литературы. Сотрудник министерства Н.Д. Демина обратилась ко мне с предложением, не смог бы я для улучшения преподавания этих предметов собрать воедино информацию о русско-латышских литературных связях (в министерстве по спискам моих опубликованных трудов первой значилась публикация о восприятии творчества Н. Некрасова в Латвии, напечатанная в трудах Ленинградского университета по инициативе моего учителя и научного руководителя, бывшего профессора Ленинградского университета В.Г. Чернобаева).

Выполнив поручение Министерства с большим энтузиазмом, я этой темой не только увлекся, но стал пропагандировать эту идею и среди других сотрудников, с которыми я в данный момент поддерживал контакты, в том числе, конечно и с Лосевым. Методистов поразила только что изданная кандидатская диссертация молодого исследователя Велы Вавере о контактах М. Горького с Латвией в начале XX века, о пребывании Горького в Риге и на Рижском взморье, о постановке его пьес в Рижском русском театре, о письмах писателя про революцию в Латвии и о создании им сборника латышской литературы на русском языке. Все эти факты были высшей архиважности, они убедительно доказывали правомерность и плодотворность новой формы активизации познавательных устремлений учащихся, определили одно из важнейших направлений нашей научно-исследовательской деятельности на протяжении всех последующих тридцати лет.

Мог ли А. Лосев, оказавшийся теперь рядом со мной, оставаться безучастным и равнодушным к новому, всячески поощряемому сверху и набирающему силу движению?

Однако подход к новому виду творческой и познавательной деятельности учащихся оказался для меня и Лосева не одинаковым.

Если для меня, прошедшего огонь, воду, и медные трубы собирание и исследование русско-латышских литературных контактов было одним из увлекательных методов исследовательской работы, то для Лосева это стало его назначением жизни: своими собирательскими и исследовательскими трудами всемерно способствовать приближению предсказанного тем же Пушкиным времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединят-

ся». Сам же процесс создания наших исследований-публикаций литературоведческого и краеведческого характера проходил следующим образом (публикации и специфически педагогические и методические темы создавали мы каждый в отдельности, и лишь в особых случаях совместно).

Первая фаза — собирание материала, который лежит на поверхности, было моим делом — это было связано с плохим зрением Лосева. Жалко было смотреть, как он подносил к глазам лист с текстом, чтобы прочесть написанные на бумаге слова.

А на поверхности лежало уже многое: и обстоятельные исследования о XVIII веке М. Николаева, и вышедшая уже к тому времени солидная книга Г. Мацкова и В. Вавере, и воспоминания литераторов 20—30-х гг., Шац-Анина, и многочисленные небольшие публикации неутомимых краеведов Флаума и Иешина, а также других молодых и стареющих литераторов.

Материал, готовясь к первому его чтению, я группировал согласно либо историческому, либо логическому исследованию фактов. Вот тут-то активно вступал в действие Лосев, который стремился придать композиции такую последовательность, чтобы она с первых же строк не только заинтересовывала читателя, но и увлекала его.

С горькими упреками обрушивался на меня мой напарник за то, что я, зная его принципы и установки, допускал в написанном тексте такие звукосочетания как «в русском...» или «с русским...» Постоянно он напоминал слова М. Горького, который нигде не любил ни «щей», ни «вшей». Следует ли оговаривать тот остракизм, которому подвергалось употребление одного и того же слова в том же предложении.

Во время второго чтения, на мой взгляд, уже совершенно готового к печати текста, Лосев подолгу, к моему вящему неудовольствию, останавливался в тех местах, где, по его мнению, неплохо было бы вставить какой-либо эпитет или метафору для более выпуклого определения характера или поступков того или иного персонажа, то ли русской, то ли латышской литературы, особенно в тех случаях, когда у авторов перевода, воссоздания или реминисценции это не было сделано в достаточно убедительной форме. Бывало, что завершение рукописи задерживалось на несколько дней, пока Лосев не находил нужный по его

мнению эпитет или метафору. В поисках новых, редких форм и выражений он проводил иногда много времени, пока не отыскивал эквивалентную, по его мнению, форму. Иногда эти поиски приводили к совершенно новым лирическим отступлениям, немного скрашивающим задуманный мною текст.

Вот во что под «тяжелой рукой» Лосева превратилась моя фраза о том, что в народном творчестве, а именно: в народных сказках один и тот же сюжет представляется в различных художественных образах, в зависимости от мифологических верований, художественных склонностей народов:

«Рассматривая сходные ситуации, связанные, скажем, с удивительными свойствами волшебного ларца, можно увидеть: в сказке, рожденной где-то в средней полосе России, из чудесного берестяного туеска возникает невиданной красоты дворец в окружении золотых и серебряных роц. Из латышской резной шкатулки осторожно вылезает мудрый еж, ведающий, как звездное небо расстелить над землей, и уж, спешащий творить добро людям и зверям. Выбегают на волю коровьи стада и рассеиваются на приречных зеленых лугах. И в одном, и в другом эпизоде отозвалась мечта о народном благоденствии, о справедливости и красоте. И мечта эта от века была заветна как для русского, так и латышского землепашца, лесоруба и рыбака».

Сказанное, однако, отнюдь не означает, что А. Лосев в нашем творческом содружестве выступал главным образом как литературный редактор. Отнюдь нет. Ему как раз принадлежит ряд открытий таких фактов русско-латышских литературных контактов, которые вовсе не лежали «на поверхности», а находились в глубине таких материалов, к которым обычно литературоведы обращаются весьма редко — письма, публицистика, сатира.

Кто бы мог подумать, что факты, пригодные для исследователя русско-латышских культурных и литературных связей, отыщутся в памфлете Радищева на Телемахиду Тредиаковского? Но вот Лосев, прочитав в полном собрании сочинений Радищева этот памфлет под заглавием «Дактилохореическому витязю, или драматическо-повествовательные беседа юноши с пестуном его, описанные составом нестихословных речи отрывками, из иронических пимы славного в учёном ответе мужа НН поборником его знаменитого творения», отыщет информацию о дальнейших судьбах



фонвизинских Простаковых, которые приводят их в западные губернии Империи.

Оказалось: государь помиловал жестокосердных помещиков и поместье им вернул. Они его тут же продали и приобрели себе новое — в западной части империи, поскольку здесь, в западной части, имеется в виду, разумеется, и Остзейский край, помещики вольны, в отличие от центральной России, с крепостными вытворять, что им Господь-Бог на душу положит.

Предпринятое же Лосевым углубленное изучение фонвизинских писем и дневников ввело в тему наших исследований — трагедию самого Фонвизина, приведшую его к параличу. По глубокому убеждению Лосева, теснейшим образом паралич этот связан с постоянными его стычками с управляющим — жестокосердным по отношению к русским мужикам немецким бароном, унять его злокозненности Фонвизину так и не удалось. Но само по себе немецкое окружение русских литераторов, по глубокому убеждению Лосева, — отнюдь не отрицательное явление. Об этом свидетельствуют собранные по его идее материалы. И Пушкин, и Тютчев, и Тургенев о своих друзьях — остзейцах говорят только с положительными эмоциями. Когда же Лосев отослал для обсуждения и рецензирования в Москву лермонтоведам статью об остзейском окружении Лермонтова, последовал ответ, что москвичам до сих пор даже в голову не приходило так ставить и решать этот вопрос.

Ценные для латвийцев гипотетические предположения Лосевым высказывались и по другим разделам русско-латвийских литературных и культурных взаимоотношений. Так, Лосев был уверен, что события в рассказе Лескова «Запечатленный ангел» происходили именно в Риге, поскольку Двина, которую пришлось преодолевать староверам, спасавшим своего «запечатленного ангела», гораздо шире киевского Днепра и в силу этого более соответствует реальности.

Но подлинным вкладом Лосева и его учеников Рижской вечерней школы был названный нами «Островский поиск». Воспитанники Лосева — ученики вечерних школ, предпринимали далекие поездки (даже во Львов), чтобы собрать информацию о самом писателе (о Николае, а не об Алексее, которых, кстати, путают и современные журналисты), встретиться и поговорить с латышами, или, вернее, латышками — латыши, мужчины из островского

окружения все погибли в те памятные 1937—1938 годы. И об Островском исчерпывающую информацию могла сообщить лишь главная героиня «Островского поиска» — Марта Пуринь (в романе Марта Луринь), ей удалось уцелеть и избежать ГУЛАГА необычным образом: много лет она не сходила с поезда, путешествуя из одного конца великого Советского Союза в другой.

Главный вывод Лосева и его учеников из собранных материалов был следующим: именно латышские литераторы, бывшие стрелки, сделали Николая Островского литератором, постоянно напоминая ему о том, что ему обязательно нужно записывать все эти интересные и поучительные, исполненные пропагандистской силы рассказы о его героическом боевом прошлом. «Островский поиск» Лосева и его учеников был оценен по достоинству: авторитетнейший исследователь жизни и творчества Николая Островского Семен Трегуб специально приезжал в Ригу, чтобы встретиться с Лосевым и его учениками. И в дальнейшем С. Трегуб не забывал об исследовательских достижениях рижан, напоминая о них во всех своих последующих публикациях. Окрыленные успехом, мы популяризировали собранные учениками Лосева материалы в телепередачах о русско-латышских культурных связях, в соответствующих альбомах и выставочных стендах, диафильмах и даже затеяли создать короткометражный учебный кинофильм. Но киностудия «прикрепила» киношника-специалиста, который все ценнейшие высказывания заменил киноэффектными сценами похорон Островского и прочими потрясающими киносценами, ничего общего с нашей темой не имеющими. Мы этот фильм в руки не брали и никому о нем не рассказывали...

Тесным сотрудничеством со мной педагогическая деятельность А.Г. Лосева не ограничивалась. На протяжении многих лет пребывания его в Научно-исследовательском институте педагогики он — ученый секретарь координационного совета по педагогическим исследованиям, координатор научных исследований в этой области всех высших учебных институций Латвии, автор исследований и публикаций по проблемам организации и активизации вечернего, сменного и заочного образования, соавтор многочисленных учебников русского языка и литературы для латышских вечерних и сменных школ, сборников упражнений, пособий по школьному

изучению русско-латышских литературных и культурных связей, учебников по латышской литературе для русских школ и высших учебных заведений. Пособия эти, приобретшие всеобщую признательность, становятся основой аналогичных пособий для национальных школ Российской Федерации, популярными во всех республиках Советского Союза, а Лосев — постоянным участником всех научно-педагогических форумов союзных республик. Его гуманитарные идеи о дружбе и сотрудничестве всех народов находят отклик и в независимой Латвии 90-х годов, где идеи Лосева воплотились в программном пособии «Единое пространство культуры» (1988 г.).

Как человек, Александр Лосев всегда поражал меня своей собранностью, последовательностью, серьезностью и ответственностью за свои слова и поступки. Повседневное общение с ним помогло мне постичь его сущность. Это был типичный педагог, в лучшем значении этого слова, воспитатель молодого поколения, который нигде и никогда не позволял себе никаких вольностей. Даже в самую жаркую погоду одетый по «полной форме» — в рубашке с манжетами, в жилете и при галстуке, он всегда неодобрительно относился к моим вольностям как в отношении одежды, так и в отношении способа высказывания мыслей в присутствии посторонних.

Жизнь он воспринимал скорее с ее трагической стороны (кажется — это удел советских интеллигентов), трагически переживал даже незначительные случайности, подстерегавшие нас на каждом шагу. Такое повышенное серьезное отношение к жизненным поворотам и привело его к преждевременной кончине. Уже совсем собравшись к проведению вернисажа одного из его многочисленных друзей-художников, в последний момент Лосев по телефону получил извещение, что презентацию художника будет проводить другой. Услышав эту весть, Лосев опустил на стул и больше уже не вставал.

Потом, в больнице, Лосев никак не мог успокоиться по поводу несданной нами в Министерство просвещения программы по русско-латышским литературным связям, что привело его к инсультам, которые следовали один за другим, и привели к трагической развязке. А программе, завершенной мной и сданной в Министерстве, также был уготован летальный исход: ее тут же сдали в макулатуру, и на мои слезные просьбы вернуть ее мне

хотя бы из уважения к Лосеву, положительно-го решения дождаться не удалось.

Но память о самом Лосеве сохранилась в лице тех многочисленных учителей — участников краеведческого и литературоведческого поиска, участников общереспубликанской школьной олимпиады по русско-латышским литературным связям, которую с гордостью вспоминают латвийские учителя-словесники старшего поколения.

*(«Светлой памяти Александра Германовича Лосева»)*

### **Юрий Иванович Абызов**

Судьба свела меня с Юрием Ивановичем Абызовым в 1946 году, как только он начал появляться в аудиториях филологического факультета Рижского университета. Но тогда наши пути не перекрестились: я завершал свое академическое образование, обремененный не сданными еще марксистскими предметами и подготовкой к государственным экзаменам, — он начинал только-только вживаться в совершенно новую для него обстановку Латвии.

Контакты между нами возникли гораздо позже, когда я успел уже пройти через Сциллу и Харибду советской бдительности и идеологической чистоты, возродившись, как Феникс из пепла, в годы Хрущевской оттепели. А Юрий Иванович занял уже командные позиции в развитии латвийской русской культуры, включившись в организацию и осуществление изданий на русском языке. Показав при этом себя умелым переводчиком с латышского языка на русский и доказавший свои недюжинные способности переводом таких сложных произведений, как пьесы Райниса, латышские народные песни, которые некоторыми тогда считались совершенно непереводаемыми.

И как раз контактам суждено было установиться именно по этой для меня тогда весьма чуждой творческой переводческой деятельности. Юрий Иванович предложил мне подготовить подстрочник райнисовской трагедии «Илья Муромец». Хотя ничего подобного я до того не делал, а переводил главным образом авторефераты кандидатских диссертаций латышских фольклористов, литературоведов и лингвистов, ободряемый и вдохновляемый Юрием Ивановичем, я все же взялся за это ответственное дело. И тут же столкнулся с невероятными трудностями. Юрий Иванович мне дал дельный совет: «А вы присмотритесь к русским соответстви-

ям. Ведь, очевидно, Райнис творил свои неологизмы по образу и подобию русских слов». И действительно, в каждом райнисовском неологизме можно было обнаружить тот элемент, который в той или иной степени соответствовали русскому фольклорному слову.

Повышенный интерес к проблемам перевода латышских народных песен на русский язык побудил и меня с моим постоянным напарником Александром Германовичем Лосевым взяться за историю перевода латышских дайн на русский язык, благо материала у меня было накоплено достаточно еще с тех пор, когда я собирал материалы для моей кандидатской диссертации. Материал этот лежал втуне, и только предпринятое Юрием Ивановичем издание «Слово в нашей речи» заставило меня снова с Александром Германовичем этот материал пересмотреть, обновить, довести в плане абызовской теории перевода латышских дайн. И новый вариант исследования, опубликованный в абызовском издании, получил высокую оценку весьма уважаемых ученых, с мнением которых нам было лестно познакомиться. Правды ради следует отметить, что никто из латышских фольклористов — и любителей, и академически образованных специалистов (Лайтенбах), в своей практической деятельности не дошли до четкой и филологически обоснованной теории перевода латышских дайн на русский язык, как они сформулированы четко и точно в многочисленных трудах и практике Юрия Ивановича.

Еще теснее мои (в том числе и А. Г. Лосева) и интересы Абызова скрестились тогда, когда мы стали интенсивно разрабатывать теорию использования латышско-русских литературных связей в школьном изучении. В отличие от академического изучения русско-латышских литературных связей, направленных, прежде всего на рецепцию русской литературы в Латвии, мы с позиций школьного обучения отдавали предпочтение краеведческому аспекту изучения русско-латышских литературных связей. Это направление заключалось не только и не столько в рецепции, как в тесных органических связях русского писателя с Латвией (пребывание, знакомство с языком, бытом, историей Латвии, отображение в сво-

ем творчестве). Юрий Иванович в круг своих интересов включил не только русских классиков (мы с Лосевым должны были ограничиться ими). Он не был связан рамками школьной программы, поэтому на его долю выпала задача первопроходца изучения жизненного и творческого пути таких писателей, о существовании которых не всегда знали и завзятые литературоведы. Так появляется цикл публикаций о таких поэтах и писателях, и стараниями Юрия Ивановича русский Олимп Латвии обогащается такими именами, как Ирина Евгеньевна Сабурова, Аделаида Казимировна Герцик. За ними следуют Гроссен, Перфильев, Потемкин, Задонский, Магнусго-Магнусгофская, Горный, Строк, Северянин...

Впрочем, Юрий Иванович непрочь взяться и за такие, уже не раз дискутировавшиеся проблемы, как различные мистификации, связанные с различными спорными проблемами, сложившимися или искусственно созданными вокруг имен Блока, Маяковского и некоторых других наших современников.

*(«Из архивной папки «Юрий Иванович Абызов»)*

#### 1990-е годы и далее

*Признанием исследовательской деятельности Бориса Инфантьева явилась защита в 1985 году диссертации «Отбор и презентация лексико-грамматического материала в курсе русского языка национальной школы» и единогласное присуждение степени доктора педагогических наук. В 1993 году Латвийский университет присвоил Б. Инфантьеву ученую степень хабилитированного доктора педагогики. Б. Инфантьев за свои заслуги в области фольклористики в 2001 году получил Большую фольклорную премию.*

*С 1997 года профессор Б. Инфантьев работал в Латвийской академии культуры, читал лекции студентам юридического факультета Балтийского Русского института. Со времени возобновления работы Рижской духовной семинарии, по благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Александра митрополита Рижского и всея Латвии, профессор Инфантьев преподавал семинаристам латинский и греческий языки.*